



## "Музей моих тайн"

**Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы  
в онлайн-библиотеке  
[mir-knigi.org](http://mir-knigi.org)**

Кейт Аткинсон

Музей моих тайн

*Посвящается Еве и Хелен*

*Моей подруге Фионе Робертсон – с благодарностью за всю помощь*

Глава первая

1951

Зачатие

Я существую! Меня зачали под полночный бой часов, что стоят на каминной полке в соседней комнате (через площадку). Часы когда-то принадлежали моей прабабушке Алисе, и их усталый бой отсчитывает мое пришествие в мир. Меня начинают творить с первым ударом и заканчивают с последним, когда отец скатывается с матери и погружается в сон без сновидений (благодаря пяти пинтам «лучшего горького эля Джона Смита», выпитым в «Чаше пунша» в компании друзей, Уолтера и Бернарда Беллинга). Когда я перехожу из небытия в бытие, моя мать притворяется спящей – как она часто делает в такие моменты. Отец, однако, неробкого десятка, и подобным его не смутить.

Моего отца зовут Джордж, и он на добрых десять лет старше матери, которая сейчас сопит на соседней подушке. Мать зовут Бернис, но ее никто не называет иначе как Банти.

«Банти» никогда не казалось мне особенно взрослым именем, но было бы мне лучше, родись я у матери, которую зовут по-другому? У простецкой Джейн? У Марии, воплощенного материнства? Или у какой-нибудь иной, романтической, не так напоминающей комикс для девочек, – Авроры, Камиллы? Но уже поздно. Конечно, еще несколько лет Банти суждено зваться исключительно «мамой», но настанет день, когда все существительные с этим корнем (мать, маман, мамочка, мамуля) меня уже не будут удовлетворять и я практически совсем перестану к ней обращаться. Бедная Банти.

Место, где мы живем, называется «Над Лавкой» – это не совсем точно, так как наши кухня и столовая находятся на одном уровне с Лавкой и в топографию включается также прилегающая область, Задний Двор. Лавка (зоомагазин) располагается в лабиринте древних улочек, сжавшихся у подножия грозной громады Йоркского собора. На этой улице жили первопечатники и мастера-витражники, что наполнили окна города разноцветными лучами. Девятый Испанский легион, покоритель севера, маршировал по нашей улице, *via praetoria* великой твердыни римлян, в обе стороны, прежде чем уйти насовсем. Здесь родился Гай Фокс, [1] за несколько улиц отсюда повесили Дика Тёрпина, [2] и Робинзон Крузо, другой великий герой, тоже здешний уроженец. Уже не разберешь, кто из них реальные люди, а кто – плод воображения.

Улицы пропитаны историей; дому, занятому нашей Лавкой, несколько сотен лет, стены его крелятся, а полы идут под уклон, как в средневековой комнате смеха. Это место было впервые застроено еще во времена римлян, и, само собой, здесь полно обитателей, которые легче воздуха, – они обвиваются вокруг осветительной арматуры или мрачно повисают в пустоте за спиной у кого-нибудь из нас. Гуще всего они кишат на лестницах, которых в доме много. Им

есть о чем посплетничать. Их можно услышать, если хорошенько постараться, – плещут весла викингов, грохочет по булыжной мостовой харрогейтский дилижанс, шаркают ноги на балу в Ассамблее, скрипит перо преподобного Стерна.

«Над Лавкой» – не только обозначение положения в пространстве, но и название королевства – самодостаточного, кипящего жизнью, со своими примитивными законами и двумя претендентами на корону, Банти и Джорджем.

После зачатия Банти раздражительна, но ей вполне удобно в этом состоянии. Она долго вертится с боку на бок и наконец впадает в беспокойный сон, полный сновидений. Империя снов предлагает ей в эту ночь – первую ночь в роли моей матери – обширный каталог, из которого Банти выбирает мусорные ящики.

В этом мусорном сне она пытается перетащить два тяжелых ящика по Заднему Двору. Время от времени злобный порыв ветра заклепывает ей глаза и рот ее же волосами. Банти особенно остерегается одного мусорного ящика: она подозревает, что он обретает личность, которая зловещим и непостижимым образом сходна с Джорджем.

Банти с силой налегает на ящик, но не справляется, и тот падает с грохотом оцинкованного металла – ТРРРАХ! ЛЛЯЗГ! – рассыпая содержимое по бетонному покрытию двора. Мусор – в основном из Лавки – теперь валяется повсюду: пустые мешки из-под «Уилсоновской смеси для выпечки собачьих галет», сплюснутые пакеты из-под птичьего корма, жестянки «Китикэт» и «Чаппи», аккуратно заполненные картофельными очистками и яичной скорлупой, а также загадочными газетными сверточками, словно скрывающими ампутированные конечности младенцев. Несмотря на хаос, во сне Банти розовеет от удовольствия, до того аккуратно выглядит ее мусор. Она принимается его подбирать, но чувствует какое-то движение за спиной. О нет! Даже не поворачиваясь, она знает, что это ящик-Джордж: он вырос до исполинских размеров и теперь высится над ней, намереваясь втянуть ее в мрачные металлические глубины...

Я почему-то уверена, что этот сон не предвещает мне ничего хорошего. Я хочу мать, которой снится другое. Облака, подобные мороженому, радуги, похожие на разноцветные карамельки, солнце, как золотая колесница, пересекающая небо... Но как бы там ни было, это начало новой эры. Сегодня третье мая – чуть позже в этот день Его Величество Король проведет церемонию открытия Британского фестиваля, а за окном уже гремит рассветный хор, приветствуя мое собственное прибытие.

К фанфарам птиц в саду почти сразу присоединяется скрежет Попугая в Лавке, а потом – ДРРРРЫНЬ! – звонит будильник, и Банти просыпается с легким вскриком, прихлопывая кнопку. Она неподвижно лежит еще с минуту, прислушиваясь к дому. «Купол открытий» скоро огласится эхом радостных криков счастливых англичан, уверенно глядящих в завтрашний день, но в нашем доме все тихо, если не считать отдельных птичьих трелей и чириканья. Даже наши привидения спят – свернувшись в углах или растянувшись на карнизах.

Тишину нарушает Джордж – он внезапно всхрюкивает во сне. На этот звук реагирует примитивная часть его мозга, и он выбрасывает вбок руку, прижимая Банти к постели, и начинает исследовать, что под руку попало (живот, который не очень вдохновляет, зато содержит в себе мой собственный личный «Купол открытий»). Банти выворачивается из-под руки: она уже вытерпела один сеанс супружеской ласки (меня!), не прошло и двенадцати часов, а чаще раза в день – это неестественное излишество. Банти направляется в ванную комнату, где резкий верхний свет рикошетит от черно-белой плитки и хромированной арматуры и бьет по утренней коже Банти в зеркале, образуя жутковатый рельеф – лужицы

света и темные впадины. Банти похожа то на череп, то на собственную мать. Она не может решить, что хуже.

Она энергично чистит зубы, изгоняя вкус прокуренных Джорджевых усов, а потом – чтобы обрести приличный вид (это понятие очень важно для Банти, хоть она и не могла бы сказать, для кого именно предназначается приличие) – рисует на лице рубиново-красную улыбку прелестной формы и ухмыляется в зеркало, оттянув губы, чтобы проверить, нет ли помады на зубах. Ей в ответ ухмыляется вампир, но в целлулоидных грезах Банти она в образе Вивьен Ли закручивает пируэт у большого напольного зеркала.

Теперь она готова встретить этот день – первый день в роли моей матери. Она спускается по скрипучим ступенькам (в стране грез это огромная величественная лестница усадьбы плантатора – мне еще предстоит обнаружить, что Банти много времени проводит в альтернативной вселенной собственных мечтаний). Банти движется очень тихо, так как не хочет никого будить, особенно Джиллиан. Джиллиан требует много внимания. Она моя сестра. Ей почти три года, и она очень удивится, когда узнает обо мне.

Наслаждаясь кратким утренним одиночеством, Банти ставит чайник на кухне, расположенной в задней части Лавки. Через минуту она понесет Джорджу чай в постель – не из альтруистических побуждений, но лишь для того, чтобы муж чуть подольше не путался у нее под ногами. Моя бедная мать страшно разочарована своим браком: он изменил ее жизнь исключительно к худшему. Настроившись на ее волну, я слышу бесконечный монолог-жалобу на рутину хозяйственной жизни: «Почему мне заранее не сказали, каково это? Готовка! Уборка! Вся работа по дому!» Мне уже хочется, чтобы она перестала жаловаться и начала снова грезить, но она никак не остановится: «А дети... это уж совсем... сон урывками, борьба за то, кто в доме главный... а уж рожать!» Она обращается непосредственно к правой ближней конфорке плиты, мотая головой – очень похоже на Попугая в Лавке. «Ну хоть через это мне больше не придется проходить...» (Сюрприз!)

вернуться

1

Гай Фокс (1570–1606) – дворянин-католик, самый известный участник Порохового заговора против Иакова I, короля Англии и Шотландии. (Здесь и далее – примеч. перев.)

вернуться

2

Дик Тёрпин (1705–1739) – знаменитый английский разбойник, ставший персонажем фольклора.

Чайник свистит, Банти наливает кипяток в коричневый чайничек и бездумно облакачивается на плиту, ожидая, пока чай заварится. Лицо сбежалось к середине – Банти чуть заметно хмурится, пытаясь вспомнить, зачем, собственно, она вышла за Джорджа.

Джордж и Банти познакомились в 1944 году. У нее был другой поклонник, который нравился ей больше, – Бак, сержант американской армии (моя бабушка так же мучилась, выходя замуж во время войны), но Баку оторвало ступню, когда он, как дурак, забавлялся с противопехотной

миной («Эти американцы, они на что угодно пойдут ради ржачки», – с отвращением высказался Клиффорд, брат Банти), и его отправили домой, в Канзас. Банти довольно долго ждала письма, в котором Бак предложит ей разделить с ним горе и радость в Канзасе, но он так и не написал. Так что Банти досталась Джорджу. В конце концов Банти решила, что Джордж с двумя ногами – более верное дело, чем Бак с одной, но теперь она уже не так в этом уверена. (Бак и Банти! Какая вышла бы восхитительно созвучная пара – я их прямо так и вижу.)

Подумайте, насколько другой была бы наша жизнь, если бы Бак увез Банти в Канзас! Особенно моя. В 1945 году отец Джорджа погиб, упав под трамвай во время однодневной экскурсии в Лидс, и к Джорджу перешел семейный бизнес, лавка под названием «Любимцы». Джордж женился на Банти, полагая, что она будет большим подспорьем в лавке (потому что она когда-то работала в магазине), но понятия не имел, что Банти после замужества вообще не собиралась работать. Этот конфликт между ними неистощим.

Чай заварился. Банти мешает ложечкой в коричневом чайничке и наливает себе чашку. Первая в моей жизни чашка чаю. Банти садится у кухонного стола и снова принимается грезить, улетая за пределы канзасской неудачи и свадьбы с Джорджем (сэндвичи с ветчиной и чай) в иные места, где воздушная вуаль трепещет на летнем ветерке, а под вуалью сама Банти в воздушном же платье из органзы, с талией восемнадцати дюймов в обхвате и другим носом. Мужчина рядом с ней невероятно красив и удивительно похож на Гэри Купера, [3] в то время как Банти отчасти напоминает Селию Джонсон. [4] Огромное облако флердоранжа угрожает поглотить их, пока они сливаются в страстном объятии и поцелуе... и вдруг нашу героиню выдергивают из мира грез в реальность – кто-то тянет ее за халат и ноет не слишком приятным голосом.

Это она! Это моя сестра! Она карабкается на Банти – пухлые ручки, мягкие ножки, сладкие сонные детские запахи. Она лезет на Эйгер [5] материнского тела и прижимает заспанное лицо к холодной шее Банти. Банти разжимает кулачки, в которых зажаты пряди ее волос, и спускает Джиллиан на пол.

– Слезай, – мрачно говорит Банти. – Мамочка думает.

(На самом деле мамочка думает о том, что хорошо бы вся ее семейка исчезла с лица земли – тогда можно было бы начать все заново, с чистого листа.) Бедная Джиллиан.

Но Джиллиан не дает себя долго игнорировать – она не из таких, – и едва мы успеваем отхлебнуть свой первый глоток чаю, как вынуждены все бросить и обслуживать сестру. На завтрак Банти готовит овсянку, тосты и вареные яйца. Джордж терпеть не может овсянку – он любит бекон, колбасу, поджаренный на сковороде хлеб, но у Банти сегодня утром что-то крутит живот (я посвящена во многие секреты ее тела). «Хочет – пускай сам готовит», – бормочет она, вываливая в миску порцию каши (с комками), предназначенную для Джиллиан. Накладывает вторую порцию для себя – она решает, что немного овсянки осилит. А потом – третью порцию. А это для кого? Для домовых? Неужели для меня? Нет, конечно! Сюрприз – у меня есть еще одна сестра! Это хорошая новость, хотя сама сестра выглядит несколько уныло. Она уже умыта и одета в школьную форму, и даже волосы – подстриженные в прямое каре, которое ей совсем не идет, – причесаны. Ей всего пять лет, и зовут ее Патриция. Она разглядывает кашу в миске, и на некрасивом маленьком личике отражается что-то вроде отчаяния. Это потому, что она ненавидит овсянку. Джиллиан глотает свою, как жадная утка в ее книжке «Жадная утка» из серии «Божья коровка».

Патриция решается заявить матери:

- Я не люблю овсянку.

Она впервые в жизни пробует пойти на прямую конфронтацию по поводу овсянки. Обычно она только возит в каше ложкой, пока время завтрака не истекает окончательно и бесповоротно.

- Пар-дон? - произносит Банти. Слоги падают на линолеум, как сосульки (по утрам наша мать не слишком приятна в общении).

- Я не люблю овсянку, - повторяет Патриция уже с некоторой опаской.

Стремительное, как бросок змеи, шипение в ответ:

- А я не люблю маленьких детей, так что, считай, тебе не повезло.

Она, конечно, шутит. Правда же?

А почему у меня такое странное ощущение? Словно мне пришили к спине мою же собственную тень. Как будто тут, рядом со мной, кто-то есть. Неужели меня преследует мое личное зачаточное привидение?

\* \* \*

- Бант, пригляди за Лавкой!

(Бант?! Это еще хуже!)

И ушел. Ни здрасте, ни до свидания! Банти обиженно дует. «Мог бы по крайней мере спросить: „Банти, ты не против вместо меня приглядесть за Лавкой?“ Я, конечно, против, и еще как. Но почему это называется „приглядесть“? Всем же ясно, что одним глядением тут не ограничиться».

В стоянии за прилавком Банти видит некую непристойную неразборчивость. Она чувствует, что продает на самом деле не канареек и не корм для собак, а себя. Во всяком случае, когда она работала на мистера Саймона («Моделия - дамская модная одежда высшего качества»), то продавала всем понятные, необходимые вещи, такие как платья, корсеты и шляпки. А кому может быть необходима канарейка? И более того, приходится все время быть со всеми вежливой, а это неестественно. (Джордж, напротив, прирожденный лавочник, он болтает с покупателями как заведенный, двадцать раз за утро повторяет одну и ту же реплику о погоде, льстиво улыбается, а потом, стоит ему выйти за кулисы, сдирает с себя эту маску. Дети лавочников - вот как я, например, и как Чехов - на всю жизнь травмированы видом своих унижающихся, угодливых родителей.)

Банти решает, что непременно скажет что-нибудь Джорджу. Она мать и жена, а не девчонка на побегушках. И вообще, куда это он все время ходит? Вечно «выскальзывает на минутку» по каким-то загадочным делам. Если Банти добьется своего, она многое изменит. Она сидит за прилавком и щелкает вязальными спицами номер девять, словно вязальщица времен Французской революции у гильотины, на которой должны казнить Джорджа. Ей бы следовало вязать мое будущее - крохотные вещички, кружевные шали, утренние кофточки с продернутыми в них розовыми ленточками. Волшебные красные пинетки, которые помогут мне в пути. Наш Кот - толстый, пятнисто-полосатый, принадлежность Лавки, проводящий целые дни в неодобрительном созерцании окружающей среды, - прыгает Банти на колени, и она тут же смахивает его на пол. Иногда Банти кажется, что весь мир только и норовит на нее вскарабкаться.

- Лавка! - это вернулся Джордж; канарейки в клетках вспархивают и трепещут.

«Лавка»! Почему «Лавка»? Джордж и Банти всегда это восклицают, входя через переднюю дверь Лавки, - но ведь что-то такое должен говорить клиент, а вовсе не продавец? Обращаются они к Лавке в звательном падеже («О Лавка!») или же именуют в именительном? Напоминают Лавке о ее существовании? Убеждают себя в ее существовании? Притворяются покупателями? Но какой смысл притворяться тем, кого ненавидишь? Я боюсь, что восклицание «Лавка!» навеки останется экзистенциальной тайной.

Но теперь мы уже не прикованы, как рабы цепью, к прилавку (Банти только что продала Нашего Кота, но ничего не говорит об этом Джорджу; бедный кот) и можем отправиться исследовать бескрайний мир, лежащий за пределами дома. Сперва надо пройти через ритуал одевания Джиллиан, чтобы она смогла выжить во враждебной атмосфере внешнего мира. Банти не доверяет месяцу маю и потому надевает на Джиллиан атласный корсаж, надежно пристегивая шлейками. Затем нижнюю юбку, толстую красную кофту джерси, связанную неутомимыми руками Банти, потом юбку из шотландки цветов королевского рода Стюартов и длинные белые хлопчатобумажные гольфы, которые режут пухлые ножки Джиллиан едва ли не пополам. Последними идут бледно-голубое пальто с белым бархатным воротником и белый шерстяной чепчик с лентами, врезающимися в пухлый подбородок. Я, с другой стороны, свободно плаваю в невесомости, обнаженная и ничем не приукрашенная. Никаких перчаток и чепчиков - лишь теплое, уютное укрытие в теле Банти, пока не знающем о том, какой драгоценный груз оно в себе носит.

вернуться

3

Гэри Купер (1901-1961) - знаменитый американский актер, дважды лауреат «Оскара».

вернуться

4

Селия Джонсон (1908-1982) - британская актриса театра, кино и телевидения, в 1945 г. номинированная на «Оскар» за роль в фильме Дэвида Лина «Короткая встреча».

вернуться

5

Эйгер - вершина в Швейцарских Альпах.

Безовсяночную Патрицию уже пару часов назад спешно оттащил в школу отец. Сейчас она стоит на школьном дворе, пьет молоко из фляжки, повторяет в уме таблицу умножения на четыре (она очень прилежная ученица) и пытается понять, почему никто никогда не приглашает ее попрыгать вместе с ними через скакалку. Всего пять лет - и уже изгой! Три пятах нашего семейства сейчас шествует по Блейк-стрит к Музейным садам, - точнее, Банти шествует, я плаваю, а Джиллиан едет на новеньком трехколесном велосипеде «Три-анг»: она не согласилась выходить из дому без него. Банти кажется, что в парках есть некое излишество,

декадентство. Парки – это дыры в ткани вселенной, не заполненные ничем, кроме воздуха, света и птиц. Уж наверно, время, проводимое в парках, следовало бы наполнить чем-нибудь более полезным – хотя бы работой по дому?

Работа по дому должна делаться. С другой стороны, детей положено водить на прогулку в парк – Банти внимательно изучила раздел «Уход за ребенком» в своей «Энциклопедии домашнего хозяйства», а там именно так и написано. Поэтому она неохотно выделяет, отрывая от себя, время для поглощения свежего воздуха и платит драгоценные шесть пенсов на входе в Музейные сады, гарантируя исключительное качество этого самого воздуха.

Мой первый день! Все деревья в Музейных садах покрыты свежими листочками, а небо высоко у Банти над головой такое синее, что кажется, можно рукой потрогать. Банти, однако, не пробует. Пушистые белые облачка, подобно ягнятам, играют в чехарду. Мы в раю-кватроченто. [6] Птицы над нами пикируют, щебечут, ведут радостный хоровод, напрягая крохотные летательные мускулы, – миниатюрные ангелы Благовещения, пернатые Гавриилы, явились возвестить мое прибытие в этот мир! Аллилуйя!

Впрочем, Банти их не замечает. Она смотрит на Джиллиан, которая старательно следует каждому повороту и отклонению тропы, словно руководствуясь некой собственной волшебной тантрой. Я беспокоюсь, как бы Джиллиан не застряла меж цветочных клумб. За оградой парка виднеется широкая спокойная река, а впереди – бледные ажурные руины аббатства Святой Марии. Павлин, скрежеща, взлетает со стены древнего города, где устроил себе насест, и приземляется на траву у наших ног. О дивный новый мир, в котором живут такие твари!

Двое мужчин, которых мы назовем Берт и Альф, косят траву в парке огромной газонокосилкой. При виде Джиллиан они временно бросают работу, облакачиваются на косилку и с нескрываемым удовольствием наблюдают, как Джиллиан едет. Берт и Альф воевали в одном полку, танцевали под Ала Боулли [7] на одних и тех же танцуйках, вместе ухаживали за девушками (очень похожими на Банти), а теперь вместе косят траву. Им кажется, что жизнь обошлась с ними отчасти несправедливо, но вид Джиллиан их почему-то с этим примиряет. («Кто родился в субботу, живет весь век без заботы» – это про Джиллиан, которая действительно родилась в субботу и в 1951 году все еще сохраняет детскую жизнерадостность. К сожалению, это ненадолго.) Наша Джиллиан, обещание будущего, – чистенькая и новенькая, как булавка или брусок мыла только что из обертки, – символизирует все, за что они сражались в эту войну. (Будущее оказалось не ахти каким – в 1959 году Джиллиан погибнет под колесами бледно-голубого «хиллмана-хаски», но кто мог об этом знать? Члены нашей семьи генетически предрасположены к несчастным случаям, причем наиболее популярны попадание под машину и увечья при взрыве.)

Банти (нашу мать, цвет английской женственности) внимание Берта и Альфа раздражает. (Интересно, она вообще умеет испытывать какие-нибудь другие чувства?) «Да косите уже свою дурацкую траву», – думает она, пряча эту мысль за ослепительной деланой улыбкой.

Пора уходить! Банти надоело бездельничать, и нам надо идти за покупками – в чужие лавки. Банти готовится к воплям Джиллиан, потому что Джиллиан, без сомнения, будет вопить. Банти умудряется вытащить Джиллиан из клумб и поставить на прямую дорогу, но Джиллиан не знает, что теряет драгоценное время, а потому едет медленно, с частыми остановками – любуется цветами, подбирает камушки, задает вопросы. Банти удерживает на лице безмятежное благожелательное выражение Мадонны, пока может, но скоро ее раздражение перекипает через край, и она дергает руль велосипеда, чтобы ускорить продвижение. Следует катастрофа: Джиллиан валится на землю аккуратной бело-голубой кучкой, одновременно втягивая воздух и пронзительно вопя. Я в отчаянии: неужели я смогу когда-нибудь такому

научиться?

Банти рывком ставит дочь на ноги, притворяясь, что не видит ссадин на нежных коленках и ладошках. (Когда кто-то дает знать, что ему больно, или вообще испытывает какие бы то ни было чувства, Банти ведет себя так, словно имеет дело с душевнобольным.) Однако она, зная, что на них смотрят Берт и Альф, быстро изображает на лице снисходительную улыбку («Что же это ты такая рева-корова») и шепчет на ухо Джиллиан, что если та перестанет реветь, то получит конфету. Джиллиан немедленно засовывает кулак в рот. Хорошей ли сестрой она будет? Хорошая ли мать – Банти?

Банти выходит из парка с высоко поднятой головой, одной рукой волоча Джиллиан, а другой – велосипед. Берт и Альф молча принимаются косить траву. Легкий ветерок ерошит молодые листики на деревьях и обнаруживает на скамье забытую утреннюю газету. На первой полосе заманчиво трепещет фотография башни «Скайлон», словно видение из города будущего, научно-фантастической страны Оз. Меня это не сильно интересует – я неловко ерзаю в ванне из ядовитых химикалий, только что выработанных организмом Банти из-за истории с велосипедом.

\* \* \*

– Ну что, дорогая, чего вы желаете? – голос мясника наполняет лавку грохотом. – Хорошенький кусочек красного мяса, а?

Он похабно подмигивает моей матери – она притворяется глухой, но все остальные слушатели хихикают или ржут. Покупатели любят Уолтера, а он ведет себя как мясник в кинокомедии – грубая пародия на себя самого в заляпанном кровью бело-синем фартуке и соломенной шляпе. Он кокни, а это уже само по себе что-то опасное и неизвестное для нас, уроженцев древней сердцевины Йоркшира. В личном словаре животных Банти (все мужчины – скоты) мясник – свинья, с гладкой, лоснящейся кожей, туго обтянувшей мягкую, как масло, пухлую плоть. Банти (она в очереди первая) максимально нейтральным тоном просит немного бифштекса и почек, но мясник гогочет, как будто она сказала что-то чрезвычайно двусмысленное.

– Чтоб у мужа все работало как следует, а? – взрывается он.

Банти, чтобы скрыть румянец неловкости, присаживается на корточки, делая вид, что у Джиллиан развязался шнурок.

– Для такой красоти – все, что угодно!

Уолтер ухмыляется ей, а потом, внезапно и пугающе, достает откуда-то огромный нож и принимается его точить, не сводя глаз с Банти. Она сидит на корточках рядом с Джиллиан и тянет время сколько может, притворяясь, что беседует с ней, кивая и улыбаясь, словно Джиллиан говорит что-то чрезвычайно интересное. (На самом деле, конечно, Банти никогда не обращала внимания ни на какие наши слова, кроме тех, которые находила непочтительными или неприличными.)

Мясник принимается очень громко насвистывать арию тореадора из «Кармен» и устраивает целый спектакль, взвешивая на ладони большую, тяжелую говяжью почку.

– Уолтер, тебе бы в театре выступать, – кричит кто-то с другого конца лавки, и все покупатели согласно бормочут.

Банти, уже снова принявшую вертикальное положение, посещает неприятная мысль: почка,

которую Уолтер небрежно перекидывает из руки в руку, странно похожа на пару тестикул. (Впрочем, слова «тестикулы» Банти не знает – она принадлежит к поколению женщин, не слишком сведущих в терминологии.)

Ее бы воля, она ходила бы к другому мяснику, но лавка Уолтера находится рядом с нашей, и он не просто коллега-лавочник, но еще и друг Джорджа, хотя для Банти – в лучшем случае знакомый. Банти нравится слово «знакомый», оно звучит великосветски и не подразумевает тягостных затрат времени, в отличие от слова «друг». Но как ни называй Уолтера, держать его на расстоянии очень трудно, и Банти убедилась в этом на горьком опыте: он уже пару раз зажимал ее за машинкой для набивки колбас в задней части лавки. Джордж и Уолтер оказывают друг другу «услуги» – вот сейчас это делает Уолтер, проявляя ловкость рук на виду у целой очереди покупателей и отвешивая Банти гораздо больше мяса, чем ей положено по мясной карточке. Уолтер пользуется репутацией бабника, и Банти не слишком радуется, что Джордж проводит время вместе с ним. Джордж на словах не одобряет «эти гадости», но Банти подозревает, что думает-то он совсем другое. Другой приятель-лавочник Джорджа, Бернард Беллинг, торгует сантехнической арматурой и, в отличие от Уолтера, не вплетает все время в разговор непристойные намеки.

вернуться

6

Кватроченто – раннее итальянское Возрождение (XV в.).

вернуться

7

Ал (Альберт Эллик) Боулли (1898–1941) – популярный певец и композитор, руководитель джаз-оркестра.

Банти берет мягкий сверток мяса в бумаге, избегая взгляда Уолтера и вместо этого даря застывшей улыбкой пустую брюшную полость овечьей туши, висящей за его левым плечом. Банти выходит молча, но внутри нее ярится молчаливая Скарлетт, негодуяски скидывая голову, – она вылетает из магазина, взметнув ворох юбок и на прощание посылая мясника в преисподнюю.

После мясника мы отправляемся к булочнику Ричардсону и берем у него большую буханку хлеба, присыпанную белой мукой. Пирогов мы не покупаем, так как Банти считает, что для хозяйки подавать дома покупные пироги – крайняя степень морального падения. Потом мы заходим к Хэннону за яблоками, ранней капустой и картошкой, потом к Бордерсу за кофе, сыром и маслом, которое торговец достает из лоханки и обхлопывает ножом, чтобы придать ему форму. К этому времени мы все, похоже, устали, и Банти вынуждена беспрестанно пилить Джиллиан, чтобы та ехала на велосипеде вверх по Джиллигейт и вдоль по Кларенс-стрит к нашему последнему месту назначения. Джиллиан красна, как вареный рак, и, кажется, жалеет, что добилась возможности взять на прогулку велосипед. Ей приходится налегать на педали изо всех сил, чтобы поспеть за раздраженной (я это чувствую) Банти.

\* \* \*

Наконец мы добираемся до Лоутер-стрит и приземистого таунхауса, в котором живет Нелл. Нелл – моя бабушка, мать Банти и дочь Алисы. Вся ее жизнь определяется ее родственными отношениями с другими людьми:

**Мать:** Клиффорда, Бэбс, Банти, Бетти и Теда.

**Дочь:** Алисы.

**Приемная дочь:** Рейчел.

**Сестра:** Ады (покойной), Лоуренса (предположительно покойного), Тома, Альберта (покойного), Лилиан (все равно что покойной).

**Жена:** Фрэнка (покойного).

**Бабушка:** Адриана, Дейзи, Розы, Патриции, Джиллиан, Юэна, Хоуп, Тима... а теперь еще и МОЯ!

У Банти урчит в животе, и этот звук кажется мне громовым. Уже почти время обеда, но Банти даже страшно подумать о том, чтобы что-нибудь съесть. Моя новоявленная бабушка дает Джиллиан стакан ярко-оранжевой воды «Киа-Ора», а нам – печенье из аррорутовой муки и кофе «Кэмп», который она кипятит в кастрюльке со стерилизованным молоком из консервной банки. Банти чувствует, что ее сейчас тошнит. Ей кажется, что у нее на коже остался запах мясной лавки – опилок и тухлятины.

– Ну как, мама, у тебя все хорошо? – спрашивает Банти, не ожидая ответа.

Нелл маленькая и какая-то плоская, словно двумерная. В качестве родни она не очень впечатляет.

Банти замечает муху, которая нацелилась на аррорутное печенье. Она хватается мухобойку, которая у Нелл всегда наготове, и ловко уничтожает муху. Долю секунды назад муха была жива и здорова, а теперь ее нет. Меня вчера не было на свете, а сегодня я существую. Жизнь – удивительная штука, правда?

Нелл уже устала от Банти и беспокойно ерзает в глубинах кресла, ожидая, когда мы наконец уйдем и она сможет спокойно послушать радио. Банти чувствует прилив тошноты (из-за моего прибытия в этот мир), а Джиллиан выпила «Киа-Ора» и намерена отомстить миру. Она играет с бабушкиной шкатулкой, где лежат пуговицы, выбирает себе одну – розовую, стеклянную, в форме цветка (см. *Сноску (i)*) – и осторожно, обдуманно глотает. Это самая близкая замена конфеты, обещанной ей в Музейных садах нашей забывчивой матерью, – ничего другого Джиллиан не получит.

\* \* \*

– Чертов попугай! – Джордж держит на весу клюнутый палец.

Банти равнодушно издает сочувственные звуки. (Как уже отмечалось, сострадание к чужой боли нельзя назвать ее сильной стороной.) Она по локти утопает в смеси муки с нутряным салом, и ее опять тошнит. Она с отвращением смотрит на Джорджа, который хватается булочку с «волшебной глазурью» (мы убили полдня после обеда на то, чтобы их испечь) и глотает в один прием, даже не разглядев.

Вторая половина дня оказывается разочарованием. Мы снова пошли по магазинам, но купили только шерсть какого-то навозного цвета – в лавке у робкой старухи, по сравнению с которой Уолтерова театральная манера торговли заиграла гораздо более приятными красками. Я надеялась, что мы, может быть, зайдём в цветочную лавку и отпразднуем мое прибытие цветами, парой гирлянд, букетом радости и роз, но не тут-то было. Я все время забываю, что обо мне еще никто не знает.

Мы зашли за Патрицией в школу, но это тоже оказалось не очень интересно.

– Что вы сегодня делали?

– Ничего. – Патриция пожимает плечами.

– А чем вас кормили на обед?

– Не помню. – Снова то же движение.

– А ты играла с какими-нибудь девочками?

– Нет.

– Патриция, что ты все время жмешь плечами!

\* \* \*

Банти рубит ножом почку, покрытую кровавой блестящей коркой. Мысль о тестикулах не идет у нее из головы. Банти ненавидит готовить – это слишком похоже на вежливость или услуги другим людям. Вот опять... «Я всю жизнь провожу на кухне, я рабыня домашнего очага... прикована к плите... вся эта еда, день ото дня, и что дальше? Ее съедают, вот что! И даже спасибо не скажут!» Иногда, стоя у плиты, Банти ощущает страшное сердцебиение, – кажется, сейчас у нее оторвется крышка черепа, ураган вырвет ей мозг и разнесет в клочья все вокруг. (Наверно, все же хорошо, что она не поехала в Канзас.) Она не понимает, что с ней творится (пойди спроси Алису [8] – опять см. *Сноску (i)*), но сейчас это творится с ней опять, и потому, когда Джордж опять забредает в кухню, хватает еще одну булочку с «волшебной глазурью» и объявляет, что должен «пойти глянуть на одну сучку» (он даже подмигивает, когда это говорит, – мне все сильнее кажется, что мы застряли в какой-то дурацкой черно-белой кинокомедии), Банти оборачивается к нему искаженным лицом, на котором читается готовность убить, и вздыхает нож словно для удара. Неужто враги подожгли великий город Атланту?

– У меня дела, – торопливо говорит Джордж, и Банти передумывает и вонзает нож в говядину.

– Я тебя умоляю! Что такое? Ты думаешь, я встречаюсь с другой женщиной? Думаешь, решил провести веселую ночь?

Вопрос с подвохом, потому что именно это мой отец (уже целый день, как он – мой отец!) и намеревается сделать. Неужели на кухне разразится война Севера с Югом? Запылает Атланта? Я жду, затаив дыхание.

Но, судя по всему, Атланта еще поживет. Уф, как сказал бы Тед, брат Банти, будь он здесь; но его нет – он служит в торговом флоте, и в данный момент его болтает на волнах Южно-Китайского моря. Воинственный задор Банти остывает, и она возвращается к приготовлению пудинга.

\* \* \*

Ну что ж, мой первый день почти закончен, слава небесам. Кое-кого из нас – особенно меня и Банти – он порядком вымотал. Джордж еще не вернулся, но Банти, Джиллиан и Патриция крепко спят. Банти опять в стране снов, и ей снится Уолтер, который расстегивает ей пуговицы ручищами из свинины и мнет ее плоть пальцами-сардельками. Джиллиан сопит во сне, посреди сизифова кошмара, в котором она вынуждена без остановки налегать на педали трехколесного велосипеда, поднимаясь в гору. Патриция спит крепко, прижимая к груди игрушечную панду. Бледное личико осунулось. Призраки блуждают по дому, творя мелкие пакости – то молоко сквасят, то посыплют полки пылью.

Я тоже не сплю – я плаваю в океане Банти, выкидывая коленца. Я трижды стучу крохотными голыми пятками друг о друга и думаю, что с родным домом ничто не сравнится.

На следующее утро Джордж просыпается в необычно хорошем настроении (загул в компании мясника удался) и пихает мою спящую мать, чтобы ее разбудить.

– Эй, Бант, хочешь завтрак в постель? – (Банти что-то хрюкает в ответ.) – Жареную колбаску? Кусочек черного пудинга?

Банти стонет. Джордж принимает это за согласие и отправляется на кухню, а Банти срочно бежит в ванную. На миг ей мерещится в зеркале Скарлетт в полной гамме «техникolor», но образ исчезает, когда ее начинает тошнить. Банти прислоняет горячий, раскалывающийся лоб к холодному кафелю, и тут ее осеняет ужасная мысль: да ведь она беременна! (Бедную Банти рвет каждое утро каждого дня каждой беременности. Поэтому ее постоянная присказка – что ее от нас тошнит – это чистая правда.) Она рывком садится на унитаз, и рот ее открывается в безмолвном вопле, как на картине Мунка: «Не может быть!» (Да, да, да, у Банти будет ребенок! Это я!) Она швыряет первое, что попало под руку (красную туфлю), в зеркало, и оно разлетается на миллион острых осколков.

вернуться

8

Go ask Alice – анахронистическая раскавыченная цитата из песни «White Rabbit» (1967) калифорнийской группы Jefferson Airplane.

Я вишу на ниточке, как розовая стеклянная пуговица. Помогите. Где мои сестры? (Спят.) Где мой отец? (Готовит завтрак.) Где моя мать?

\* \* \*

Но ничего – солнце уже в небе и сегодня опять прекрасная погода. Толпы хлынут в выставочные залы и «Купол открытий», будут выворачивать шеи, глядя на башню «Скайлон» и сияющий изумрудный город завтрашнего дня. Будущее – словно шкаф, полный света, и нужно только найти ключ, отпирающий дверь. Над головой летают и поют синие птицы. Как прекрасен этот мир!

Сноска (i). Сельская идиллия

Фотография в серебряной рамке, на красной бархатной подложке. Из-за овального стекла

смотрит на мир моя прабабушка, и непонятно, что выражает ее взгляд.

Она стоит очень прямо, положив одну руку (с обручальным кольцом) на спинку шезлонга. За спиной у нее типичный задник тогдашней фотостудии – затянутый дымкой холмистый средиземноморский пейзаж спускается волнами от намалеванной террасы, занимающей передний план. Волосы прабабушки разделены на пробор, и косы короной уложены вокруг головы. Корсаж атласного платья с высоким воротником похож на туго набитую подушечку для булавок. На шее у прабабушки небольшой медальон на цепочке, а губы приоткрыты – словно она ждет чего-то. Голова чуть откинута назад, но глаза смотрят прямо в камеру (или на фотографа). Глаза на фотографии темные, и в них отражается какое-то чувство, но какое – сказать невозможно. Кажется, она вот-вот что-то произнесет, но я даже представить себе не могу, что именно.

Я вижу эту фотографию первый раз в жизни. Она появилась у Банти в один прекрасный день, как по волшебству. Том, дядя Банти, только что умер в доме престарелых, и Банти забрала его немногие личные вещи – они уместились в картонную коробку. Банти достала из коробки эту фотографию, и когда я спросила, кто это, ответила, что это ее бабушка, моя прабабушка.

– Она сильно изменилась, правда? – сказала я, обводя пальцем по стеклу контуры прабабушкиного лица. – На той фотографии, которая у тебя есть, она толстая и некрасивая. На той, которую сняли на заднем дворе на Лоутер-стрит, со всей семьей.

Это другая фотография, которая есть у Банти, – на обороте водянистыми голубыми чернилами написано: «1914, Лоутер-стрит». На фотографии прабабушка в окружении всей семьи сидит, большая и квадратная, посередине деревянной скамьи. С одной стороны от нее ее сидит Нелл (мать Банти), а с другой – Лилиан (сестра Нелл). Позади них стоит Том, а у ног Рейчел сидит на корточках самый младший брат, Альберт. Светит солнце, и на стене у них за спиной растут цветы.

– Да нет же, – говорит Банти. – На фотографии с Лоутер-стрит – это Рейчел, их мачеха, а не настоящая мать. Она была их кузиной или что-то в этом духе.

Женщина в рамке с красным бархатом – настоящая мать, истинная невеста – загадочно смотрит сквозь разделяющее нас время.

– А как ее звали?

Банти приходится подумать.

– Алиса, – наконец произносит она. – Алиса Баркер.

Выясняется, что моя новооткрытая прабабушка умерла, рожая Нелл, и вскоре после того мой беспутный дед женился на Рейчел (ненастоящей матери, ложной невесте). Банти смутно, с чужих слов, помнила, что Рейчел позвали в семью смотреть за детьми, на роль плохо оплачиваемой экономки.

– Шестеро детей остались без матери, – объясняет Банти голосом, каким обычно повествует про смерть мамы олененка Бемби. – Он должен был на ком-нибудь жениться.

– А почему ты об этом никогда не рассказывала?

– Забыла, – отвечает Банти.

Забытая Алиса смотрит прямо перед собой. Я осторожно вытащила фото из рамки, и открылись дополнительные подробности искусственного сепиевого мира – большая пальма в латунной кадке и плотная занавеска, прикрывающая угол декораций. На обороте штамп фотографа: «Ж. П. Арман. Передвижная фотографическая мастерская». Ниже поблекшим карандашом: «20 июня 1888 года».

– Двадцатое июня тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года, – говорю я, и Банти выхватывает у меня фото и начинает пристально рассматривать.

– А ведь сразу и не скажешь, правда? Она так стоит за диваном, что ничего не видно.

– Что? Что сразу не скажешь? Чего не видно?

– Моя мать родилась в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. Тридцатого июля. Алиса на этой фотографии беременна на восьмом месяце. Моей матерью, Нелл.

Может, этим и объясняется непроницаемая загадка во взгляде? Может, Алиса чувствует, как к ней идет смерть, шмыгает вокруг сепиевых юбок, гладит сепиевые волосы? Банти продолжала разглядывать фотографию.

– Она очень похожа на тебя, – сказала Банти обвиняющим тоном, словно мы с потерянной Алисой состояли в некоем заговоре, имеющем целью разбудить лихо.

Мне хочется спасти эту потерянную женщину от того, что с ней должно вот-вот случиться. Нырнуть в рамку, выхватить ее оттуда...

\* \* \*

*Представьте себе сцену...*

Сто лет назад. Деревенский домик, дверь распахнута настежь – день очень жаркий. Во дворе два маленьких мальчика пинаются и возятся в пыли, а хорошенькая девочка лет девяти, постарше мальчиков, сидит на табурете у задней двери. Она явно глуха к шуму, поднятому братьями. Это Ада. Длинные золотистые волосы спадают массой кудрей. Их стягивает назад лента, отсыревшая от жары. У ног девочки бесцельно роются в земле куры. Девочка баюкает на руках куклу, и личико светится материнским благоговением, какое, пожалуй, можно увидеть только на картинах Рождества. Сторожевая собака спит на другом конце двора в тени сарая. Черная кошка сидит на деревянном плуге, впитывая жгучий летний зной, по временам начинает вяло вылизываться и тут же бросает. За изгородью – поля, одни с коровами, другие с овцами. Третьи пусты. С южной стороны домика в скудной меловой почве разбит огород с рядками чахлой капусты и моркови, иссыхающими без воды. Бархатцы и васильки у двери обвисли от палящего зноя.

Общее ощущение такое, словно кто-то взял идиллический сельский пейзаж и чуть-чуть нарушил баланс – солнце слишком жаркое, свет слишком яркий, поля слишком бесплодны, скот слишком тощ. Домик, очаровательный, словно с пасторали, подозрительно похож на приничный домик из сказки. Кто знает, что там внутри?

Вдруг девочка, не меняясь в лице, хватает камень и запускает в братьев. Она попадает в голову младшему, Тому. Мальчики в неподдельном изумлении отпрыгивают друг от друга и с воплями пускаются бежать в поле, объединенные общим негодованием на сестру. Ада вновь обращает все такой же спокойный взгляд на куклу-младенца. Солнце стоит в зените, раскаленное добела от гнева. На кухне домика женщина месит тесто для хлеба – с силой плюхает на деревянный

стол, берет в руки, опять плюхает, опять берет. Ребенок неизвестного пола сидит под столом, колотя молотком по деревянным брускам (видимо, все-таки мальчик). У него такие же ангельские кудряшки, как и у старшей сестры.

Женщина, красная от кухонного жара, время от времени делает перерыв, чтобы выпрямить спину и провести по лбу тыльной стороной руки. Она разминает кулаками поясницу. Еще у нее болят зубы. Большой живот с очередным ребенком внутри не дает как следует месить тесто.

Эта женщина – Алиса. Это моя прабабушка. Она затеряна во времени. У нее прекрасные светлые волосы, которые жестоко стянуты назад и уложены в потный узел. Она сыта по горло. Она вот-вот выскользнет из жизни. Забавный штришок наследственности – в трудную минуту все мы (Нелл, Банти, мои сестры и я) проводим по лбу тыльной стороной руки точно так же, как только что сделала Алиса. На носу у нее мазок муки.

Алисе тридцать один год, и она беременна седьмым ребенком (одного она уже потеряла – Вильям, близнец Ады, умер в три месяца от неизвестной лихорадки). Алиса родом из Йорка. Ее мать София вышла за мужчину намного старше себя, и отец Софии был счастлив, что дочь так удачно устроилась, особенно если учесть, что ее старшая сестра Ханна опозорилась, сбежав с человеком, которого судили военным трибуналом и выгнали с флота. В то время казалось, что судьба двух сестер не могла бы отличаться сильнее – одной богатство и почести, другой бесчестье и нищета. Муж Софии сколотил состояние на покупке и продаже земельных участков под железную дорогу, зарабатывая быстро и, как выяснилось (перед тем, как он повесился), нечестно. Поэтому, хоть Алиса и родилась в роскошном доме на улице Миклгейт, с залитой солнцем детской и избытком слуг, ко времени, когда ей исполнилось четырнадцать лет, семейное богатство исчезло как дым и репутация семьи погибла. Алиса была единственным ребенком и зеницей ока своей матери, но София очень тяжело перенесла кончину мужа, стала рассеянной и по ошибке приняла дозу опия, оказавшуюся смертельной.

К восемнадцати годам бедная Алиса, которую растили барышней и учили выглядеть хорошенькой и играть на фортепьянах, оказалась сиротой и, что еще хуже, школьной учительницей. За душой у нее не было ничего, кроме настенных часов матери и серебряного медальона, подаренного ей бабушкой при рождении.

В двадцать один год она встретила своего будущего мужа. К этому времени она почти год пробыла в деревне Роуздейл на посту директора местной школы. Это была маленькая сельская школа, где кроме Алисы был еще только один учитель. Школьное здание отапливалось огромной дровяной печью. Учеников сгоняли с окрестных ферм – в основном это были дети батраков, они часто пропускали школьные занятия, так как их руки нужны были для работы на земле. Алиса терпеть не могла учительствовать и скучала по городским радостям Йорка, столь отличным от зеленых сельских далей. Она уже начала соскальзывать в состояние меланхолической мрачности, когда майским субботним днем к ней подъехал суженый.

В тот день прабабушка пошла гулять по сельским дорогам. День обещал быть прекрасным, дикая сирень и боярышник в изгородях только что зацвели, и все пахло свежо и ново, отчего прабабушка только сильнее погрузилась в меланхолию. Тут, словно в унисон с ее настроением, разразилась нежданная гроза, и прабабушка, в крепких ботинках, но без зонтика, оказалась прискорбно незащитной перед стихиями. Она промокла почти насквозь, как вдруг подкатил Фредерик Баркер на двуколке и предложил подвезти ее до школы.

Он был местным фермером, землевладельцем – ему принадлежала полоска ровной, плодородной земли в одном конце Роуздейлской долины, хорошенький домик медового цвета, стадо рыжих девонских коров и фруктовый сад, где еще его отец Вильям сформировал вдоль

одной стены шпалеру персиковых деревьев, хотя персики на них родились жесткие и кислые. Глупая прабабушка была очарована, хотя мы никогда не узнаем, чем именно – краснобайством ли Фредерика, его солидной фермой или его персиковыми деревьями. Он был на двенадцать лет старше и весьма прилежно ухаживал за ней в течение целого года, поднося разнообразные дары, от творожных сыров и варенья из персиков до дров для школьной печи. Весной следующего года наступил момент, когда Алиса не могла больше тянуть с выбором – она должна была либо продолжать ненавистную учительскую работу, либо принять предложение руки и сердца Фредерика. Она выбрала второе, и не прошло и года, как на свет появились близнецы, Ада и Вильям.

В пору ухаживаний Фредерик старался показывать себя только с лучшей стороны, но, едва заполучив Алису в жены, с облегчением перестал скрывать менее приятные черты своего характера. Ко времени, когда крохотный гробик Вильяма отнесли на кладбище, Алиса уже знала то, что много лет знали все жители Роуздейла (но не сочли нужным с ней поделиться): ее муж – мрачный пьяница с неудержимой страстью к азартным играм. Он не только ставил деньги на скаковых лошадей, собачьи и петушинные бои, но и заключал пари на что попало: сколько кроликов он перестреляет за час, сколько ворон взлетит с поля, где именно сядет в комнате муха. На все, что угодно.

Разумеется, в конце концов он потерял ферму и землю, которой его семья владела двести лет, и переехал вместе с Алисой и детьми – Адой, Лоуренсом и новорожденным малюткой Томом – в Суэйлдейл, где его взяли на работу лесником. С тех пор в семье прибавилось двое детей, и скоро должен был появиться еще один. И каждый божий день Алиса пыталась вообразить, какой была бы ее жизнь, если бы она не вышла замуж за Фредерика Баркера.

Алиса режет тесто на порции, придает кускам форму, раскладывает их по жестянкам, прикрывает жестянки мокрыми полотенцами и ставит на плиту, чтобы подошли. В такую жару это будет недолго. Под белым фартуком на Алисе юбка из плотной темно-серой саржи и застиранная розовая блузка с розовыми стеклянными пуговицами в форме цветов. Маргариток. По коже под блузкой сползают щекотные струйки пота. Под глазами у Алисы синяки, а в голове звенящий шум.

Она снимает фартук, снова растирает спину и как во сне делает несколько шагов к открытой двери. Прислоняется к косяку, протягивает руку к дочери, Аде, и нежно гладит ее кудряшки. Ада трясет головой, словно сгоняя муху, – она терпеть не может, когда ее трогают, – и возобновляет монотонную колыбельную кукле-младенцу. Живой младенец, Нелл, принимается пинать Алису изнутри. Алиса останавливает несфокусированный взгляд на бархатцах у задней двери. И тут – это самый интересный кусочек истории моей прабабушки – с Алисой начинается происходить нечто странное. Она вот-вот провалится в свою собственную Страну Чудес – она внезапно чувствует, что ее стремительно, по прямой траектории затягивает в бархатцы; все происходит словно автоматически и неподвластно ей, и она даже не успевает ничего подумать, как ее уже крутит в головокружительном полете к сердцу цветка, похожего на солнце. Она ускоряется, подлетая ближе и ближе, и детали цветка обретают предельную четкость: слои удлинённых овальных лепестков, бордовая подушечка скопления центральных тычинок, грубая волосатая зелень стеблей – все это со страшной скоростью приближается, и вот она уже ощущает кожей неожиданно бархатную текстуру лепестков и обоняет едкий запах сока.

Но тут, когда весь мир уже начинает пугающе бурлить и гудеть, цветочный кошмар обрывается. Алиса чувствует прохладный порыв ветерка на лице, с усилием открывает глаза и обнаруживает, что плавает в незабудочно-голубом небе футах в тридцати над домиком.

Самое странное – это тишина. Алиса видит, как Лоуренс и Том орут друг на друга из

противоположных углов поля, но звуки не доходят до нее. Она видит, как Ада поет кукле, но колыбельной не слышно. А самое странное – Алиса видит и себя: она все еще стоит у двери домика и разговаривает с Адой, но хотя ее губы явно порождают какую-то речь, с них не слетает ни звука. Птицы – ласточки и стрижи, два вяхиря, жаворонок, пустельга – равно безголосы. Пасущиеся коровы немые, как и овцы, рассыпанные там и сям по полю. Воздух кишит насекомыми всех видов, но и их крылья молчаливы.

То, что мир потерял в звуках, он приобрел в богатстве текстур, и Алиса плавает в мерцающем, вибрирующем пейзаже, где краски, ранее выжженные солнцем, восстановлены с живой, почти неестественной глубиной. Поля внизу – изумрудно-золотое плюшевое покрывало, из живых изгородей прет шиповник, тысячелистник, крапива, жимолость, их ароматы, мешаясь, поднимаются вверх, Алиса пьянеет от запаха, теряет равновесие и начинает скатываться к реке, текущей как серебро меж темно-зелеными бордюрами деревьев.

Алиса наслаждается, плавая в воздухе, как пушинка чертополоха, переносимая ветром с места на место, – только что ее окутывал дым из трубы собственного домика, и вот она уже парит над фермой, дивясь красоте каштаново-медного оперения петуха. Куда она ни бросит взгляд, мир открывается ей, разворачиваясь навстречу. Алиса ощущает огромную переполненность сердца. Она глядит на Алису во плоти, брошенную внизу, и у нее в голове возникает мысль...

«Вот оно что! – думает моя прабабушка, плавая в воздухе. – Да я ведь живу не своей жизнью!»

С этими волшебными словами она снова ускоряется, прочь от земли, вверх, в ослепительный разреженный воздух, туда, где он темнеет, переходя в цвет индиго.

\* \* \*

И вдруг звуки возвращаются в мир. Шум вторгается в сознание Алисы. Это упорное «скрип-скрип» рессор старой телеги и звук копыт, неспешно движущихся по сухой колее. Вскоре показывается источник шума – лошадь с телегой, нагруженной загадочными предметами причудливой формы, медленно вторгается в пределы пейзажа, видимого Алисой. Телега странным, навязчивым силуэтом рисуется на вершине холма, и Алиса раздраженно следит взглядом за этим двумерным караваном. Он продолжает стойко прокладывать курс по дороге, ведущей с холма вниз, – дороге, которая неотвратно приведет его к домику.

И действительно, от вершины холма повозка спускается по дуге вниз и движется по их собственной дороге. Пейзаж уже снова начинает выцветать. Дети Алисы тоже заметили телегу с лошадью и тихо стоят, глядя, как она проезжает мимо фермы и неумолимо движется к их домику. Мужчина, правящий лошадью, поднимает шляпу, приветствуя мальчиков, но они отвечают злобным оскалом. Телега въезжает в открытые ворота (четыре сколоченные жерди плюс пятая по диагонали) и сворачивает во двор. Ада встает – наполовину в страхе, наполовину в радостном волнении, – и забытая кукла-младенец катится на землю.

Алиса способна опознать угрозу. Она чувствует, как ее тянет назад, и пытается сопротивляться, изо всех сил зажмуривая глаза и концентрируясь на возвращении в тишину, но забытое нами дитя под кухонным столом выбирает именно этот момент, чтобы заехать себе молотком по пальцу (да, это, несомненно, мальчик) и издать душераздирающий вопль, который и покойников бы заставил вопросительно выглянуть из могил, не говоря уже о матери, которой вздумалось совершить путешествие вне тела.

Братья дитяти с воплями и уханьем несутся в дом – поглядеть, нет ли крови, пес во дворе просыпается и начинает брехать как безумный, а младенец в колыбели в углу кухни (этого мы

вообще до сих пор не замечали) мгновенно просыпается и добавляет свой крик в общий хаос.

Бедная Алиса обнаруживает, что ее затягивает обратно из тихого помешательства в ее собственную жизнь, сквозь небо, голубое, как перья сойки, и плавленное золото бархатцев, и швыряет на место, шмякая о косяк. Трах! Нелл незримо брыкается из солидарности с воющим под столом ребенком, который, когда Алиса пытается его поднять и успокоить, вцепляется ей в волосы и срывает с блузки три розовые стеклянные пуговицы.

Наконец, чтобы увенчать эту какофонию, во двор домика въезжает та самая лошадь с телегой, и у пса начинается истерика. Долговязый мужчина, с виду иностранец, с крючковатым носом и вообще похожий на Эдгара Аллана По – старомодный фрак, меланхоличные длинные пальцы – слезает с телеги и идет к открытой двери. Театральным жестом он снимает шляпу и отвешивает низкий поклон.

– Мадам, – возвещает он, выпрямляясь, – Жан-Поль Арман к вашим услугам!

Он, конечно, оказался волшебником, а загадочные предметы в телеге – декорациями: складной задник с видом Средиземноморья, причудливый латунный горшок с пальмой (листья – из пропитанного чем-то хлопка), бархатные занавеси, удивительная фотокамера. Только шезлонг не принадлежит фотографу: его вытащили на задний двор Ада и Лоуренс. Фотограф объяснил, что на дворе свет лучше.

– Не надо ничего платить, пока я не вернусь с фотографиями, – так он уломал Алису, которая в нехарактерном для нее приступе оптимизма решила, что как-нибудь наскребет денег за это время. Поэтому она отмыла, причесала и в целом преобразила детей. Слезы Альберта (дитяти под столом) иссякли, когда мсье Арман вручил ему завиток ячменного сахара – у фотографа всегда были полные карманы сластей для убеждения неохотно позирующих маленьких клиентов. Он снял детей Алисы в разных вариациях: Ада с Альбертом на коленях; Альберт, Том и Лоуренс вместе; Ада держит настоящего младенца, Лилиан (забытое дитя из колыбели) вместо куклы и так далее. Лилиан еще не успела отпраздновать свой первый день рождения (и едва успеет втиснуть его в краткий срок, отмеренный ее матери до того, как та исчезнет навеки).

\* \* \*

Ради мсье Армана Алиса втиснула раздутый стан в лучшее платье, расчесала волосы, заплела косы и заколола их. Для такого платья сейчас, конечно, слишком жарко, и ей приходится очень долго стоять на жаре, пока фотограф возится под черным покрывалом, напоминающим Алисе панцирь жука. Возможно, загадочное выражение на ее лице – лишь следствие жары, долгого ожидания, пинков изнутри. Мсье Арман считает ее красавицей, неожиданной сельской мадонной. Он думает, что, когда вернется с фотографиями, предложит ей с ним бежать (он весьма эксцентричен).

Вспышка! Взрыв химических веществ – и моя прабабушка запечатлена в вечности.

– Шарман! – говорит мсье Арман на извечном жаргоне фотографов всех веков.

\* \* \*

Судьба трех стеклянных пуговиц сложилась следующим образом.

Первую в тот же вечер нашла Ада и сунула в карман передника. Перед стиркой передника она переложила пуговицу в коробочку, где хранила свои сокровища и безделушки (красную ленту,

отрезок золотой проволоки, найденный по дороге в школу). Когда Алиса ушла навсегда, Ада взяла пуговицу из коробочки, нанизала на шелковую нитку и стала носить на шее. Много месяцев спустя злобная мачеха Рейчел сорвала преступную пуговицу с шеи Ады, разозленная видом упрямого личика, покрытого пятнами от слез. Как Ада ни старалась, она не смогла найти пуговицу и в ту ночь рыдала так, словно заново потеряла мать.

Вторую пуговицу нашел Том и носил ее в кармане вместе с каштаном для игры и стеклянным шариком, собираясь вернуть матери, но, не успев вернуть, где-то потерял, а потом обо всем забыл.

Третью нашла Рейчел во время яростной уборки, устроенной вскоре после переезда в домик. Она выковыряла застрявшую пуговицу из щели между плитами пола и положила в свою шкатулку для пуговиц, откуда много лет спустя ее переложили в шкатулку для пуговиц, принадлежавшую моей бабушке, – подарочную жестянку из-под шоколадных конфет «Роунтри», – откуда она, конечно же, попала в желудок Джиллиан, а оттуда уже – кто знает? Что же до детей, Лоуренс ушел из дому в четырнадцать лет и его больше никто никогда не видел. Том женился на девушке по имени Мейбл и стал клерком у адвоката, а Альберт погиб на Первой мировой. Бедняжка Ада умерла в двенадцать лет от дифтерии. Лилиан прожила долгий и довольно странный век, а Нелл – которая в этот жаркий день еще не родилась и у которой вся жизнь впереди – однажды станет моей бабушкой, и вся жизнь у нее окажется позади, и она даже не сможет понять, как так получилось. Еще одна женщина, затерянная во времени.

## Глава вторая

1952

### Рождение

Мне это не нравится. Ничуть не нравится. Скорее вытащите меня отсюда, кто-нибудь! Мой хрупкий скелетик сдавливают, как тонкую скорлупку грецкого ореха. Мою нежную кожу, еще не тронутую земной атмосферой, обдирают, словно желая набить из меня колбасу. (Неужели все это – естественный, природный ход событий?) Все облака блаженства, по которым я ступала раньше, рассеялись без следа в этой вони и крови.

– Шевелитесь, мамаша! – грохочет сердитый голос, похожий на приглушенную туманную сирену. – Мне, между прочим, на званый ужин идти!

Банти отвечает что-то нечленораздельно и неразборчиво, но общий смысл тот, что ей так же не терпится побыстрее закончить, как и нашему душе-гинекологу. «Доктор Торквемада, я полагаю?» [9] Акушерка – ангел, посланный присутствовать при моем рождении, – накрахмалена до скрипа. Она рявкает приказы:

– Тужься! ТУЖЬСЯ!

– Я тужусь, черт побери! – орет Банти в ответ.

Она потеет и сопит, не переставая сжимать в руке загадочный предмет, похожий на засушенную часть тела млекопитающего, – волосатый медальон, висящий у нее на шее (см. *Сноску (ii)*). Это счастливая кроличья лапка. Кролику она явно не принесла счастья, но для моей матери это сильный талисман. Она мне, кстати, разонравилась (не кроличья лапка, а моя мать). Девять месяцев заключения в ее утробе были не самыми приятными. А в последнее время – еще и жуткая теснота. Мне все равно, что там снаружи, это в любом случае будет лучше, чем внутри.

- ТУЖЬТЕСЬ, МАМАША! ТУЖЬТЕСЬ!

Банти испускает убедительный вопль, и вдруг все кончается – я выскальзываю наружу, бесшумно, как рыба в ручье. Даже доктор Торквемада удивлен.

- Ой, кто это у нас тут! – восклицает он, словно вовсе меня не ждал.

Акушерка смеется и говорит:

- Готово!

Меня уже собираются унести в детскую палату, когда кто-то предполагает, что Банти, возможно, захочет на меня взглянуть. Она смотрит на меня и выносит вердикт:

- Кусочек мяса. Уберите.

И машет рукой, словно подводя черту. Наверно, она устала и ее обуревают чувства. Она не сказала, какое именно мясо. Говяжья вырезка? Седло барашка? Может, свиная рулька или вообще что-нибудь безмянное, сырое и сочащееся кровью. Вот так вот – меня уже больше ничем не удивить. Я для нее уж точно не новость, – в конце концов, она уже исторгла из чресел бледную Патрицию и скандалистку Джиллиан. По сравнению с последней я чрезвычайно благовоспитанна. Джиллиан родилась сердитой, вылетела пробкой, гневно размахивая ручками и ножками и оглушительно вопя на случай, если ее появления не заметят. Как же, попробуй не заметить такое.

вернуться

9

Аллюзия на знаменитую реплику «Доктор Ливингстон, я полагаю?», которой американский журналист Генри Мортон Стэнли встретил в 1871 г. шотландского исследователя Африки и миссионера Давида Ливингстона, экспедиция которого пропала при поисках истоков Нила.

Мой отсутствующий отец (на случай, если вас это интересует) сейчас сидит в «Гончей и зайце» в Донкастере, где провел весьма удовлетворительный день на скачках. Перед ним стоит пинта горького пива, и он как раз сейчас рассказывает женщине в изумрудно-зеленом платье (чашечки размера D), что не женат. Он понятия не имеет о моем прибытии в этот мир, иначе был бы здесь. Ведь правда же? Кстати сказать, мое пребывание в утробе пришлось в аккурат на конец старой и начало новой эры – я появилась на свет вскоре после смерти короля и попала в число первых младенцев, родившихся при новой королеве. Новая елизаветинка! Удивительно, что меня не назвали Елизаветой, в честь королевы. Меня пока вообще никак не назвали. Я «девочка Леннокс», так написано у меня на этикетке. Акушерка – рыжеволосая и очень усталая – относит меня в ночную детскую и кладет в кроватку.

В ночной детской очень темно. Очень темно и очень тихо. В одном углу горит тусклая синяя лампочка, но почти все кровати в ее свете видятся темными силуэтами, похожими на гробы. Тьма простирается в бесконечность. Космические ветра задувают в ледяных межзвездных пространствах. Если я протяну крохотные сморщенные пальчики, похожие на вареных креветок, то коснусь... пустоты. За ней лежит пустота. А за пустотой? Пустота. Я не думала, что меня ждет такое. Не то чтобы я ожидала народных гуляний, хлопушек, воздушных шаров и натянутых через улицу приветственных плакатов – сошла бы и простая улыбка.

Акушерка уходит, аккуратный стук ее шнурованных черных туфель по линолеуму коридора затихает вдаль, и мы остаемся одни. Мы лежим в кроватках, туго завернутые в хлопчатобумажные одеяльца, словно обещания будущего, словно белые в клетку коконы, из которых кто-то должен вылупиться. Или посылочки с младенцами. Что будет, если от посылок с младенцами отлепятся этикетки и все перепутаются? Узнают ли матери своих детей, если те будут лежать кучей в большой корзине, как завернутые новогодние подарки?

Шорох крахмальных крыл – пришла рыжая медсестра с очередным свертком-младенцем и кладет его в пустую кроватку рядом со мной. Пришпиливает этикетку на одеяльце. Новый младенец мирно спит, приподнимая верхнюю губу с каждым крохотным вдохом.

Больше в эту ночь никого не приносят. Ночная детская плывет в холодной зимней тьме, как корабль с драгоценным грузом. Млечные пары висят над спящими детьми. Скоро, когда мы все уснем, сюда прокрадутся кошки и выпьют наше дыхание.

Я исчезну в этой тьме, я погасну, не успев разгореться. Ветер швыряет горсти мокрого снега на холодное окно детской. Я одна. Совсем одна. Я этого не вынесу – где моя мать? УАААА! УААААА! УАААААА!!!

– Эта мелкая зараза их всех перебудит, – пришла рыжеволосая медсестра.

Кажется, она ирландка. Она меня спасет, она меня отнесет к матери! Неужели нет? Нет. Она несет меня в маленькую боковую комнату за раковиной. Что-то вроде чулана. Я провожу первую ночь своей жизни в чулане.

\* \* \*

Над нами потолок палаты для матерей, выкрашенный глянцевой яблочно-зеленой краской. Верхняя половина стен – цвета магнолии, а нижняя выглядит как грибной фарш. Я предпочла бы потолок цвета небесной лазури и на нем золотые облачка с краями, словно подсвеченными огнем. А из-за облачков чтобы выглядывали пухлые розовые херувимы.

Банти хорошо устроилась в палате для матерей. Все матери лежат по кроватям, как киты, выброшенные на берег, и непрестанно жалуются – в основном на своих детей. Нас почти поголовно кормят из бутылочек – всех матерей роднит невысказанная уверенность в том, что в грудном кормлении есть нечто чрезвычайно неприятное. Нас кормят точно по расписанию, каждые четыре часа, и между кормлениями – ничего, сколько ни кричи. А чем сильнее будешь кричать, тем скорей тебя унесут в какой-нибудь чулан. Наверняка тут полно рассованных по углам и забытых младенцев.

Нас кормят по часам, чтобы мы не избаловались и не стали слишком требовательны. Матери в основном считают, что младенцы находятся в заговоре против них (о, если бы!). Мы можем орать до потери пульса, но это ничего не изменит в церемониальном ритуале кормления, отрывивания, смены пеленок и укладывания на место для дальнейшего игнорирования.

\* \* \*

Мне уже почти неделя от роду, у меня до сих пор нет имени, но, по крайней мере, Банти начала мной хоть чуть-чуть интересоваться. Впрочем, она никогда со мной не говорит и даже не смотрит на меня, соскальзывая взглядом куда-то в сторону, стоит мне появиться в поле зрения. Теперь, вне матери, я не могу узнавать, о чем она думает (и у меня уже нет доступа в богатый внутренний мир ее грез наяву). По-прежнему самое страшное – это ночи, каждая – путешествие во тьме, в неизвестность. Я не верю, что Банти – моя настоящая мать. Настоящая

сейчас бродит где-то в параллельной вселенной, щедро даря материнское молоко цвета девонских сливок. Она бесшумно ступает по больничным коридорам, ищет меня, и холодные окна запотевают от ее яростного, жаркого дыхания львицы. Моя истинная мать – Королева ночи, огромная, ростом с галактику, топчет Млечный Путь в поисках потерянного дитяти.

Иногда после обеда нас приходит навестить моя бабушка Нелл. Ей не по себе в больницах, они напоминают о смерти, а Нелл считает, что в ее возрасте любое напоминание об этом совершенно излишне. Она присаживается на краешек жесткого стула для гостей, как чахлый попугайчик в Лавке. У нее уже есть несколько внуков, и все похожи на нее, так что я не виню ее за отсутствие интереса ко мне. Джордж приводит Джиллиан и Патрицию. Джиллиан с непроницаемым лицом молча пялится на меня сквозь прутья кровати. Джордж обычно молчит. Но Патриция, молодчина Патриция, осторожно касается меня пальцем и говорит: «Привет, ребенок», и я вознаграждаю ее улыбкой.

– Смотрите, она мне улыбается. – В голоске Патриции слышится изумление.

– Это газики, – безо всякого интереса говорит Банти.

Я не слишком довольна, но решаю относиться ко всему с оптимизмом. Мне подсунули чужую мать, и я вот-вот пущусь в плавание по чужой жизни, но я верю, что все выяснится и я вновь обрету настоящую мать, ту, что уронила каплю рубиново-красной крови на снежно-белый платок и загадала желание – родить девочку с волосами цвета воронова крыла. А пока буду обходиться тем, что есть, – Банти.

Бэбс, сестра Банти, приехала ее навестить аж из самого Дьюсбери в компании дочерей-близнецов, Дейзи и Розы. Дейзи и Роза на год старше Джиллиан и безупречно чистенькие. Они абсолютно одинаковые, не отличаются ни волоском, ни ноготком. В этом есть что-то непостижимое, почти пугающее. Они сидят на стульях, не произнося ни слова, изящные ножки болтаются, не доходя до больничного линолеума цвета желчи. Банти лежит торжественно, как королева, под лилейно-белыми простынями и лососево-розовым покрывалом. У Дейзи и Розы волосы цвета расплавленных лимонных леденцов.

Банти вяжет не переставая, даже при посетителях. Она вяжет мое будущее, оно цвета засахаренного миндаля.

– Элизабет? – предлагает тетя Бэбс.

Банти морщится.

– Маргарет? – упорствует тетя Бэбс. – Анна?

Хорошо бы меня назвали Элли или Мирандой. Ева – тоже неплохо, звучно. Глаза Банти, словно зенитные орудия, обшаривают потолок. Она решительно втягивает воздух и выносит вердикт. Мое имя.

– Руби.

– Руби? – с сомнением повторяет тетя Бэбс.

– Руби, – решительно подтверждает Банти.

Меня зовут Руби. Я драгоценный рубин. Я капля крови. Я Руби Леннокс.

Это история о том, как моя бабушка Нелл раз за разом безуспешно пыталась выйти замуж. В возрасте двадцати четырех лет она обручилась с полисменом Перси Сиврайтом, высоким, приятной внешности, страстным футболистом-любителем. Он играл в футбол каждую субботу, в одной команде с Альбертом, братом Нелл, который их и познакомил. Когда Перси сделал Нелл предложение – очень торжественно, опустившись на одно колено, – ее сердце запрыгало от счастья и облегчения: наконец-то она для кого-то станет самым важным человеком на земле.

К несчастью, вскоре после того, как назначили день свадьбы, у Перси прорвался воспаленный аппендикс и он умер от перитонита. Ему было всего двадцать шесть лет, и похороны вышли ужасные – из тех, что заново бередают сердце, вместо того чтобы врачевать его. Перси был единственным ребенком, и отец его уже умер, так что мать была вне себя от горя и лишилась чувств у могилы. Нелл, Альберт и еще один мужчина подбежали и подняли ее из мокрой насквозь травы – дождь к этому времени шел уже два дня, и земля совсем раскисла, – и после этого Альберт и тот, другой, стояли и поддерживали мать Перси с обеих сторон, как колонны, до самого конца погребения. Дождевые капли, застрявшие в черной сетчатой вуали миссис Сиврайт, дрожали, как бриллиантики, каждый раз, когда ее тело содрогалось от боли. Нелл чувствовала, как тускла ее собственная скорбь по сравнению с горем миссис Сиврайт. Гроб несли ребята из футбольной команды, а коллеги Перси – полицейские – стояли в почетном карауле. Нелл впервые увидела, как плачут взрослые мужчины и слезы бегут у них по щекам. Казалось почему-то особенно чудовищным, что плачут полицейские в форме. Потом все говорили, какой отличный парень был Перси, и Нелл хотелось, чтобы они замолчали: от этого становилось только хуже – знать, что он был отличным парнем, и быть всего лишь его невестой, а не вдовой. Она знала, что разницы не должно быть, но разница была. Лилиан сидела рядом на поминках и все время сжимала ее руку, обтянутую черной перчаткой, в ужасном нежном сочувствии.

Нелл думала, что ее жизнь кончена, и все же, к ее удивлению, жизнь шла в основном так же, как раньше. По окончании школы Нелл устроилась ученицей к модистке на Кони-стрит и теперь по-прежнему целыми днями завивала перья и собирала шифон, будто ничего не случилось. То же и дома – от нее по-прежнему ожидали мыть кастрюль и штопки чулок, а Рейчел, мачеха, наблюдала за ней из кресла-качалки, в которое уже едва-едва влезала, и произносила сентенции вроде «Труд врачует все болезни» – это был эпиграф к ее любимой книге «Всеобщее собрание домашних снадобий». Нелл стояла, отвернувшись от мачехи, и старалась не слушать – боялась, что иначе треснет ее по голове большим чугунным сотейником. Теперь, когда Перси, ее спасителя, не стало, ей казалось, что она всю жизнь проведет в заключении на Лоутер-стрит. Если бы она стала миссис Персиваль Сиврайт, то обрела бы фигуру и личность, какие не полагались простой Нелл Баркер.

Ее удивляло, как это Перси так быстро исчез из всеобщей жизни. Она завела привычку навещать миссис Сиврайт каждую пятницу, вечером, зная, что та – единственный человек на свете, который уж точно не забудет Перси. Они сидели вдвоем за чаем, над тарелкой бутербродов с селедочным паштетом, и говорили о Перси так, словно он был до сих пор жив, воображали его жизнь, которой теперь не суждено было осуществиться: «Только подумай, что сказал бы об этом Перси...», «Он всегда любил Скарборо...», «Как он был бы рад сыновьям...». Но они не могли вызвать его обратно в жизнь, как ни старались.

Однажды вечером Альберт постучал в комнату Нелл и робко – он боялся показаться идиотом – отдал ей фотографию команды, сделанную в прошлом году, когда они почти выиграли кубок.

- Мы бы и выиграли, если бы этот тупой козел, извини, Фрэнк Кук не промахнулся, Джек Кич послал ему отличный пас, гол был просто на тарелочке, - говорил Альберт, даже сейчас, год спустя, недоверчиво качая головой.

- Который же из них Фрэнк? - спросила Нелл, и Альберт стал называть ей имена всех игроков и резко замолчал, дойдя до Перси. Потом сказал:

- Смерть - это ужасно, когда человек умирает таким молодым.

Эту фразу он от кого-то услышал на похоронах - сам он вовсе так не думал, потому что на самом деле не верил в смерть. Мертвые просто уходят куда-то и рано или поздно обязательно возвращаются - ждут в призрачной комнате, дверь в которую никто из живых не видит, а его мать (которая теперь, несомненно, стала ангелом) о них обо всех заботится. Альберт не помнил мать в лицо, как ни старался вспомнить, щуря глаза и сосредотачиваясь. Но все равно тосковал по ней, хотя ему было уже почти тридцать лет. Алиса, Ада, Перси, пес, который был у него в детстве и попал под телегу, - все они в один прекрасный день должны были выскочить на Альберта откуда-нибудь из-за угла и удивить его.

- Ну ладно, Нелли, спокойной ночи, - сказал он наконец.

По тому, как она глядела на снимок, он понял, что для нее мертвые ушли навсегда, а не прячутся где-нибудь поблизости.

Нелл было очень странно видеть Перси на фотографии, потому что в жизни он выглядел таким отличным от всех, непохожим, а здесь у него было такое же расплывчатое, чуть не в фокусе лицо, как и у других членов команды.

- Спасибо, - сказала Нелл Альберту, но он уже ушел.

Фрэнк Кук выглядел точно так же, как и все остальные, - он стоял в середине заднего ряда, - а вот Джека Кича можно было узнать, он присел впереди всех рядом с мячом. Она знала, что Джек Кич - хороший приятель Альберта, но, только придя однажды домой и обнаружив обоих на заднем дворе, узнала в нем человека, что помог им тогда на похоронах, когда мать Перси потеряла сознание.

Лучи солнца, что забрели на задний двор на Лоутер-стрит, были жаркие, хотя стоял еще только май, и Нелл на секунду замешкалась на пороге, ощущая лицом тепло.

- А вот и ты, Нелл, - сказал Альберт, словно они оба только ее и ждали. - Будь хорошей девочкой, поставь нам чаю - Джек пришел чинить скамейку.

Джек Кич, который в это время выковыривал из доски гвоздь, поднял голову, улыбнулся Нелл и сказал:

- Чайку было бы просто замечательно.

Нелл улыбнулась в ответ, молча пошла в дом и наполнила чайник.

Она поставила чайник на огонь, вернулась к каменной раковине под окном и положила руки на край, чтобы отдохнули, а сама стала смотреть в окно на Альберта и Джека Кича. Ожидая, пока вскипит чайник, она шевелила пальцами ног в ботинках - вверх-вниз - и чувствовала, как поднимаются и опускаются ее ребра при дыхании, а когда прижимала руки тыльной стороной к щекам, то ощущала, какие они горячие.

Скамейка была старая, деревянная, она стояла на заднем дворе с тех самых пор, как они въехали в этот дом. На спинке не хватало нескольких планок, и подлокотник начал отваливаться. Джек Кич стоял на коленях на вымостке двора и пилил ножовкой кусок нового, чистого дерева – до Нелл через открытую дверь доносился смолистый запах сосны. Локон густых черных волос все время падал Джеку на лоб. Альберт стоял над ним и смеялся. Альберт вечно смеялся. У него с детства так и остались золотые ангельские кудряшки, и младенческие голубые глаза под опухшими бледно-золотых ресниц казались чересчур большими, так что он совсем не походил на взрослого. Совершенно непонятно было, как он перестанет выглядеть мальчишкой и превратится в старика, а тем более – как он будет выглядеть в годы между молодостью и старостью.

Девушки всегда заглядывались на Альберта, но он так и не выбрал ни одну. Его брат Том женился и жил своим домом, но Альберт сказал, что он, наверно, никогда не женится. Лилиан с Нелл единодушно сочли это глупостью, потому что всем было видно – из него выйдет отличный муж, а по секрету согласились между собой, что, не будь он их братом, они бы и сами за него вышли.

Впрочем, и так все шло к тому, что они будут жить вместе до скончания дней. И Нелл, и Лилиан как-то не везло с замужеством: обе были помолвлены и у обеих ничего не вышло, у Нелл – из-за смерти жениха, у Лилиан – из-за предательства, и когда-нибудь Рейчел умрет и они останутся одни.

– Если б только... – говорила Лилиан, заплетая на ночь косы в комнате Нелл, и Нелл, вжимаясь лицом в подушку, в миллионный раз пыталась понять, почему у них забрали мать и дали вместо нее Рейчел.

Нелл налила в заварочный чайник кипятку из большого чайника, тщательно ополоснула внутри и вылила в раковину. Джек Кич снял подтяжки, так что они теперь свисали с пояса вниз, и закатал рукава – Нелл видела, как напрягаются мускулы у него на руках, когда он пилит. Кожа предплечий у него была цвета полированного грецкого ореха от постоянной работы под открытым небом. Альберт стоял над ним, как ангел-хранитель, а Нелл наблюдала за обоими, прижав заварочный чайник к груди и мечтая, чтобы это мгновение продлилось.

Когда она снова вышла на двор с чаем и тарелкой бутербродов на подносе, Джек размечал кусок дерева карандашом. Нелл сделала над собой немыслимое усилие и робко произнесла:

– Спасибо, что пришли чинить нашу скамейку.

Он поднял голову и ухмыльнулся в ответ:

– С нашим удовольствием.

Потом выпрямился на минуту и, растирая поясницу, сказал:

– Славный дворик у вас тут.

Альберт и Нелл удивленно оглянулись – им никогда не приходило в голову, что в заднем дворе на Лоутер-стрит есть что-то хорошее, но теперь, когда Джек об этом упомянул, они сразу увидели, как тут солнечно, и еще Нелл подумала, как это они прожили тут пять лет и ни разу по-настоящему не заметили пыльно-розовый клематис, который заплел всю стену и заднюю дверь дома.

– Джек у нас плотник, – восхищенно сказал Альберт, который сам был машинистом паровоза, и

Нелл с Лилиан единодушно считали, что это чудесное занятие.

Джек снова стал на колени и принялся вколачивать гвоздь, и у Нелл хватило храбрости целую минуту стоять и смотреть на него, и все это время она ни о чем не могла думать, кроме того, какие у него высокие, острые, словно ракушки, скулы.

Джек не стал делать перерыв на чай, пока не закончил работу, а к этому времени чай уже остыл. Нелл предложила заварить свежий, но Альберт сказал, что лучше выпил бы пивка, и предложил пойти в «Золотое руно». Джек виновато улыбнулся Нелл и сказал: «Может, в другой раз», и она почувствовала, как от груди к щекам поднимается румянец, так что ей пришлось спешно отворачиваться, пока Альберт помогал Джеку собирать инструменты.

Нелл осталась одна, и ей пришлось разбираться с Рейчел, когда та вернулась с собрания общества трезвенников в церкви. Рейчел обозлилась, потому что никто не позаботился приготовить ужин и пришлось есть бутерброды. Ели молча; Лилиан еще не было, она пришла гораздо позже и сказала, что выходила сегодня в позднюю смену (она работала на фабрике Роунтри), но Нелл знала, что это неправда. Альберт соизволил вернуться уже после полуночи: Нелл слышала, как он остановился у лестницы и сел на нижнюю ступеньку, снял ботинки и босиком прокрался в свою комнату, чтобы никого не разбудить.

В следующий раз Нелл увидела Джека через несколько воскресений, когда он зашел за Альбертом вместе с Фрэнком, чтобы ехать на ежегодный пикник футбольной команды. Фрэнк был в твидовой кепке и с удочкой в руках (они собирались в Скарборо). Фрэнк был подмастерьем драпировщика, но ни Альберт, ни Джек никогда не давали ему понять, что быть подмастерьем драпировщика – так себе занятие, особенно потому, что видели: он и сам это прекрасно знает, без дополнительных объяснений.

\* \* \*

Джек прислонился к стенке на заднем дворе и лениво улыбался в пространство. На нем была соломенная шляпа-канотье, и Альберт засмеялся и сказал: «Он у нас великосветский щеголь, а, Нелли?» – и подмигнул ей, так что она не знала, куда глаза девать. Черные волосы Джека были зализаны назад со лба под шляпу, и он был так чисто выбрит, что Нелл захотелось протянуть руку и коснуться его кожи как раз над белизной воротничка. Она, конечно, не стала – она едва осмеливалась смотреть на него, пока они стояли во дворе, ожидая Альберта.

– Если он не поторопится, мы опоздаем на поезд, – сказал Фрэнк.

– Вот он идет! – сказала Лилиан, и они все услышали его шаги на лестнице, и тут Лилиан улыбнулась Джеку миндалевидными, по-кошачьи зелеными глазами, ткнула Нелл в спину и прошипела: «Ну же, Нелли, скажи что-нибудь». Она знала, что сестре нравится Джек.

Но тут вышел Альберт и сказал: «Идемте же, а то опоздаем», и все трое двинулись в путь, и уже прошли половину проулка, и лишь тогда кто-то из сестер вспомнил про собранный для парней в дорогу обед. «Погодите!» – завопила Лилиан так громко, что в доме напротив открылось окно второго этажа, лязгнув рамой, и выглянула миссис Хардинг – поглядеть, отчего такой шум. Нелл помчалась обратно в кухню, схватила со стола старый вещевой мешок Тома и выбежала в проулок.

Этот обед послужил причиной обширных дискуссий между Лилиан и Нелл: сначала они собирались готовить провизию только на Альберта, потом сообразили, что Фрэнк одинокий и, наверно, возьмет себе плохую еду или вовсе никакой, а потом обе вспомнили про Джека и решили, что надо бы и его принять во внимание. Тут Лилиан засмеялась и сказала, что нужно

притормозить, а то они наготовят провизии на всю футбольную команду. В конце концов они уложили в старый вещмешок Тома дюжину бутербродов с ветчиной, завернутых в чистое посудное полотенце, шесть яиц вкрутую (в скорлупе), большой кусок уэнслидейлского сыра, шмат имбирной коврижки, пакетик тоффи, три яблока и три бутылки джинджер-эля (хоть и знали, что на пикник привезут несколько ящиков пива). Излишне говорить, что всю эту щедрость держали в тайне от Рейчел.

Джек оторвался от приятелей и пошел назад по проулку. Подойдя к Нелл, он взял у нее вещмешок и сказал:

– Спасибо, Нелл, очень мило с вашей стороны, мы вспомним о вас с Лилиан, когда будем посиживать на набережной и все это есть. – Он улыбнулся мальчишеской, задорной улыбкой и добавил: – Может, ты как-нибудь выйдешь со мной погулять на следующей неделе, вечером?

Нелл улыбнулась, кивнула, мысленно дала себе пинка – Джек, наверно, думает, что она глухонемая, потому что она при нем все время молчит, – и еле выдавила из себя с дрожащей нервной улыбочкой:

– Очень хорошо.

Она чуть не бегом вернулась к Лилиан, ожидавшей у ворот, и обе встали в рамке розового клематиса, глядя на троих удаляющихся мужчин. В конце мощного булыжником проулка все трое повернулись и помахали. Солнце било им в спину, так что лиц было не разглядеть, но Лилиан представила себе их улыбки, и ей пришлось зажать рот рукой и смаргивать слезы, которые навернулись на глаза. Она думала о том, какие это прекрасные молодые люди и как она за них боится. Но сказала только:

– Надеюсь, они будут осторожны, если соберутся кататься на лодке.

Нелл ничего не сказала – она думала о том, как грустно было бы матери Перси, будь она сейчас здесь, при виде троих его товарищей, что едут веселиться в Скарборо. Ведь Перси уже не может с ними поехать.

\* \* \*

Нелл не знала – может, она никогда по-настоящему не любила Перси, а может, просто забыла, каково было его любить. В любом случае теперь ей казалось, что она никогда в жизни ни к кому не испытывала таких чувств, как сейчас к Джеку. От одной мысли о нем ее бросало в жар, и она с новой силой осознавала, что живет на свете. Каждую ночь она молилась, чтобы ей хватило сил устоять перед ним до свадьбы.

Она продолжала навещать мать Перси, но перенесла свои визиты с пятницы на понедельник, потому что в пятницу вечером теперь гуляла с Джеком. Она не говорила миссис Сиврайт, что полюбила другого: ведь еще года не прошло, как Перси умер, и они продолжали беседовать о нем за бесконечными чашками чаю, но теперь – скорее о выдуманном человеке, чем о том, кто когда-то был плотью и кровью. И на снимок футбольной команды Нелл смотрела виновато: теперь ее взгляд проскальзывал по безжизненному лицу Перси и останавливался на дерзкой улыбке Джека.

На фронт первым пошел Альберт. Он сказал сестрам, что это будет «весело» и он «хоть мир повидаает». «Повидаешь ты разве что кусок Бельгии», – саркастически сказал Джек, но Альберта уже ничто не могло сбить с пути, и они едва успели с ним попрощаться, как его уже отправили в Фулфордские казармы, где зачислили в Первый Йоркширский полк и преобразили

из машиниста поезда в артиллериста. Но все же они все сфотографировались – это была идея Тома. «Всей семьей», – сказал он. Может, у него было предчувствие, что другого раза не будет. У Тома был друг, некий мистер Мэтток, страстный фотограф, он пришел как-то в солнечный день и расположил всю семью на заднем дворе: Рейчел, Лилиан и Нелл сидели на свежечопочиненной скамье, Том стоял позади них, а Альберт присел на корточки посередине, на переднем плане, у ног Рейчел, совсем как Джек на той футбольной фотографии. Том сказал – очень жаль, что Лоуренса с ними нет, а Рейчел ответила: «Почем мы знаем, может, он умер». Если пристально взглянуть на фотографию, можно увидеть клематис – он вьется по верху стены, словно гирлянда.

Фрэнк завербовался в армию в тот день, когда Альберта везли через Ла-Манш. Фрэнк знал, что он трус, и боялся, что об этом догадаются другие люди, и поэтому решил пойти на фронт как можно скорее, пока никто не заметил. Он так боялся, что рука, подписывающая документы, дрожала, и сержант-вербовщик, смеясь, сказал:

– Надеюсь, когда придет пора стрелять во фрицев, у тебя рука подтверже будет.

Джек стоял в очереди вместе с Фрэнком. Ему совершенно не хотелось идти воевать – про себя он считал войну бессмысленным делом, но не мог отпустить Фрэнка одного, так что пошел вместе с ним и подписал бумаги шикарным росчерком.

– Молодец, – сказал сержант.

Лилиан и Нелл пошли на вокзал провожать парней, но на увешанную гирляндами платформу набилось столько народу, что девушкам удалось увидеть Фрэнка лишь мельком, в последнюю минуту, – он махал рукой в пустоту из окна вагона, пока состав выезжал через широкие арочные, как у собора, своды вокзала. Нелл чуть не заплакала от разочарования – она так и не углядела Джека среди размахивающей флагами и нагруженной вещмешками толпы и радовалась только, что отдала ему счастливую кроличью лапку накануне вечером, во время нежного прощанья. Она тогда вцепилась ему в руку и заплакала, и Рейчел с отвращением буркнула:

– Прекрати шуметь, – и сунула ей в руку кроличью лапку. – На вот талисман для него.

Джек расхохотался и сказал:

– Их бы надо включить в стандартное снаряжение, а? – и запихнул лапку в карман куртки.

\* \* \*

Они в жизни не получали столько писем, сколько сейчас от Альберта, бодрых писем о том, какие в полку отличные ребята и как им тут не дают скучать.

– Он пишет, что соскучился по домашней еде и что уже немного освоил военный язык, – читала Лилиан вслух для Рейчел, потому что Рейчел он не написал ни строчки, хоть она и рассказывала направо и налево, что ее «сын» ушел на фронт одним из первых в районе Гровз; Лилиан и Нелл этому очень удивлялись, потому что Рейчел недолюбливала всех своих приемных детей, но Альберта не любила сильнее всех.

Нелл, конечно, получала письма от Джека, не такие бодрые, как от Альберта, и не такие длинные; правду сказать, Джек был не ахти какой писатель и обычно ограничивался фразой «Я думаю о тебе, спасибо, что ты мне пишешь», крупным корявым почерком. Девушки даже от Фрэнка получали письма, что было вполне естественно. «Ему же вовсе некому больше писать,

кроме нас», – сказала Нелл. Его письма были самые лучшие, потому что он рассказывал смешные маленькие подробности о своих однополчанах и их ежедневном распорядке, так что девушки даже иногда смеялись, разбирая его забавные угловатые каракули. Как ни странно, никто из троих – ни Фрэнк, ни Джек, ни Альберт – не писал собственно о войне; битвы и стычки словно происходили отдельно от них, сами собой.

– Битва за Ипр уже кончилась, и мы все очень рады, – загадочно выразился Альберт.

Нелл и Лилиан тратили много времени на ответные письма: каждый вечер они садились в гостиной, под лампой в абажуре с бисерной бахромой, и либо вязали одеяла для бельгийских беженцев, либо писали письма на особой, специально купленной сиреневой бумаге. У Лилиан появилось непонятное пристрастие к почтовым открыткам с меланхоличными сюжетами. Она покупала их целыми наборами (под названиями вроде «Прощальный поцелуй») и посылала без разбору всем троим солдатам, так что в итоге ни у кого из них не оказалось ни одного полного комплекта. А еще надо было слать посылки – с мятными леденцами, вязаными шерстяными шарфами и 101/2-пенсовыми жестянками антисептического порошка для ног, который покупали у Ковердейла на Парламент-стрит. А по воскресеньям они часто ходили пешком до самой Лимен-роуд, чтобы поглазеть на концентрационный лагерь для иностранцев. Лилиан очень жалела заключенных в лагере и потому брала с собой яблоки и швыряла их через забор. «Они точно такие же люди, как мы», – сочувственно говорила она. Нелл решила, что Лилиан, видимо, права, поскольку одним из заключенных в лагере был Макс Брешнер, их мясник с Хаксби-роуд. Странно было, что они носят яблоки врагам, которые пытаются убить их собственного брата, но Макс Брешнер, которому было все шестьдесят и который не мог пройти нескольких шагов без одышки, не очень-то походил на врага.

\* \* \*

Первым из всех их знакомых пришел на побывку с фронта Билл Монро, житель Эмеральд-стрит. За ним – парень с Парк-Гров-стрит и другой с Элдон-террас. Это казалось очень нечестным, потому что Альберт ушел на фронт самым первым. Однажды поднялся шум: Билл Монро отказался возвращаться на фронт, когда вышел его отпуск, и за ним послали военную полицию. Его мать подперла парадную дверь ручкой от метлы, и военной полиции пришлось убрать даму с дороги – они просто вдвоем подняли ее под локти и отнесли в сторону. Нелл, которая в это время как раз шла с работы по Эмеральд-стрит, вспомнила сцену на похоронах Перси.

И тут же испытала второе потрясение при виде полицейского – из обычной, не военной полиции. Ей вдруг показалось, что это Перси. На краткий нелепый миг она испугалась, что он сейчас подойдет к ней и спросит, почему у нее на руке колечко с жемчугом и гранатами, а не другое, с сапфировой крошкой, которое подарил ей он. То кольцо теперь лежало, завернутое в папиросную бумагу, в дальнем углу ящика комода.

Билла Монро в конце концов уволок, и Нелл не стала задерживаться. Ей было стыдно за него, потому что она увидела страх у него на лице и думала теперь, как отвратительно быть таким трусом. И как непатриотично. Ее очень удивило, что к миссис Монро, которая все еще ярилась, орала и плакала у себя на крыльце, пришло так много женщин – сказать ей, что она поступила совершенно правильно.

\* \* \*

Фрэнк пришел на побывку после второй битвы за Ипр: он лежал в госпитале в Саутпорте с заражением крови из-за раны на ноге, и ему дали несколько дней отпуска перед отправкой на

фронт. Очень странно – до войны они его едва знали, а теперь он казался старым другом. Когда он постучал в заднюю дверь, Лилиан и Нелл бросились его обнимать, а потом заставили выпить с ними чаю. Нелл побежала и достала селедку, Лилиан стала резать хлеб, и даже Рейчел спросила, как Фрэнк поживает. Но когда они расселись вокруг стола и стали пить чай из лучшего сервиза – с золотыми каемочками и голубыми незабудочками, – Фрэнк обнаружил, что не может выдавить из себя ни слова. Он хотел рассказать им кучу всего о войне, но, к своему удивлению, понял, что аккуратные треугольнички хлеба с вареньем и хорошенькие голубые незабудочки сервиза каким-то образом мешают ему говорить о «траншейной стопе» и крысах, а тем более о множестве разных способов умирания, которые ему довелось наблюдать. Запаху смерти явно нечего было делать в гостиной на Лоутер-стрит, с белоснежной скатертью на столе и лампой под абажуром с бисерной бахромой, в обществе двух сестер с такими прекрасными, мягкими волосами, в которые Фрэнку безумно хотелось зарыться лицом. Он думал все это, жуя бутерброд и отчаянно ища темы для разговора, и наконец нервно сглотнул среди всех этих золотых каемок и незабудок и сказал:

– Вот это отличный чай, а посмотрели бы вы, что мы пьем.

И рассказал им про хлорированную воду в окопах. Но увидел ужас у них на лицах и устыдился, что когда-то хотел говорить с ними о смерти.

Они в свою очередь рассказали ему про Билли Монро, и он возмущался в нужных местах, но про себя мечтал, чтобы и у него была такая мать, которая как-нибудь – как угодно – не дала бы ему вернуться на фронт. Он знал, что, вернувшись туда, погибнет. Он вежливо слушал девушек, пока они описывали ему свои повседневные занятия, показывали вязание – они перешли с одеял для бельгийцев на носки для солдат. Нелл рассказала про свою новую работу, на фабрике солдатского обмундирования, – ее только что сделали бригадиром, потому что у нее есть опыт работы со шляпами, а Лилиан теперь кондуктор в трамвае, и тут Фрэнк поднял брови и воскликнул: «Не может быть!» – потому что не мог представить себе женщину-кондуктора, и Лилиан захихикала. Сестры были слишком живые, и война не смогла проникнуть в разговор – конечно, за исключением того, что Джек здоров и передает привет и что Альберта они совсем не видят, но ему гораздо безопасней за большими пушками в артиллерии, чем было бы в окопах.

Но Рейчел, сидевшая жабой в углу, вдруг заговорила:

– Ужасно, должно быть, в этих окопах.

Фрэнк пожал плечами, улыбнулся и ответил:

– Там не так уж плохо на самом деле, миссис Баркер, – и отхлебнул из чашки с незабудочками.

\* \* \*

Большую часть отпуска Фрэнк провел с Нелл, Лилиан или обеими сразу. Он сводил Нелли в мюзик-холл в театр «Эмпайр», а Лилиан повела его на собрание в Образовательное общество, но там говорили о слишком сложных для него вещах. Там были сплошные квакеры, сознательные отказники и социалисты, и все они твердили, что войну надо кончить путем переговоров. Фрэнк решил, что они просто трусы, и был рад, что он в солдатской форме. «Может, тебе не стоит якшаться с такими людьми?» – спросил он у Лилиан на обратном пути, а она только засмеялась, посмотрела на него и воскликнула: «Фрэнк!» Гораздо приятней было, когда они все втроем пошли смотреть «Джейн Шор» в «Новом кинотеатре» на Кони-стрит – он только открылся и оказался просто потрясающим, огромным, с тысячей откидных сидений в

зале.

Когда Фрэнку пришла пора возвращаться на фронт, он чувствовал себя еще хуже, чем когда уходил туда первый раз. Ему невыносимо было оставить Нелл и Лилиан.

У Лилиан и Нелл нашлось чем себя занять после отъезда Фрэнка. Они много работали и еще вынуждены были сосуществовать с Рейчел, – впрочем, страх перед цеппелинами был еще хуже Рейчел. Девушки купили в универсальном магазине Лика и Торпа темно-синего холста для окон и фанатично соблюдали правила затемнения, особенно после того, как бедная Минни Хейвис попала под суд за оставленный свет. Том регулярно навещал их, но редко брал с собой молодую жену, Мейбл. Лилиан говорила, что Мейбл – сырая лепешка, но Нелл она нравилась. Кто-то спросил у девушек, не косит ли их брат от фронта, и они возмутились, но Нелл втайне думала, что со стороны Тома это не очень храбро – получить освобождение от армии таким образом. «Неужели недостаточно, что одного брата могут убить?!» – воскликнула Лилиан, а Нелл швырнула в нее подушкой, потому что Альберта никогда, ни за что не могли убить, а говорить такие вещи – значит накликать несчастье. Том помог сестрам повесить на окна холст для затемнения, но осмеял их за то, что они боялись цеппелинов. Впрочем, после того, как ему оторвало кисть, он поверил, что цеппелины опасны. Сестры ходили в больницу его навещать, но по крайней мере теперь его никто не мог обвинить, что он отсиживается в тылу, с такой-то рукой. Нелл как раз собиралась написать Альберту об этой истории, как он вдруг неожиданно для всех обнаружился у дверей – пришел на побывку. Рейчел только буркнула: «Лишний рот кормить», но, конечно, она никогда не любила Альберта.

Увидев Альберта, сестры были совершенно уверены, что он вырос, – ни одна не помнила его таким высоким. Вокруг глаз у него были тонкие морщинки, и он бы проспал все время отпуска, если бы ему позволили. Когда его спрашивали о войне, он отшучивался и ничего толком не говорил. Сестры словно не могли насытиться Альбертом, они бы проводили с ним каждую минуту, просто глядя на него, – так были рады, что он дома. Раньше Альберт всегда заботился о них, а теперь они хотели заботиться о нем, висли у него на шее и гладили по голове, словно он был младенцем, а не большим взрослым старшим братом. Когда Альберту пришла пора возвращаться на фронт, они махали ему вслед на вокзале, а потом простояли на перроне еще минут десять, глядя на пустые рельсы. Пока они там стояли, им казалось, что они еще не совсем расстались с братом, и только через силу они смогли сдвинуться с места и вернуться домой, где Рейчел сказала: «Ну что, уехал он, свет ваших очей?»

\* \* \*

Фрэнк решил, что Джека доконал шум. Артобстрел продолжался без передышки три дня и три ночи, и Джек становился все молчаливей, хотя и не сошел с ума, как некоторые солдаты, – просто замкнулся в себе. Как ни странно, Фрэнка шум не очень беспокоил – Фрэнк думал, это потому, что он привык к постоянному уханью гаубиц, но он просто оглох на правое ухо.

На самом деле его беспокоил не шум, а смерть – точнее, то, как он должен умереть. В том, что умрет, он не сомневался – ведь он воюет уже два года и шансы теперь не в его пользу. Чтобы хоть как-то выносить происходящее вокруг, Фрэнк начал молиться. Уже не о том, чтобы остаться в живых, а только о том, чтобы вовремя увидеть идущую к нему смерть. Он боялся умереть внезапно и желал хотя бы заметить летящий к нему снаряд, чтобы успеть приготовиться. Или предвидеть каким-то непостижимым образом снайперскую пулю, которая вышибет ему мозги – неожиданно для тела. «И пожалуйста, Господи, – просил он, – сделай так, чтобы это был не газ». Всего лишь неделю назад целый батальон в параллельном окопе – «батальон друзей» с фабрики в Ноттингеме – накрыла низко идущая волна газа, накатила бесшумно, солдаты не успели и понять, что происходит. Теперь они все безмолвно

захлебывались, утопая на суше, на койках в госпитале.

В ночь перед атакой никто не мог спать. В четыре часа утра, когда уже светало, Фрэнк и Джек привалились к брустверу из мешков с песком, и Фрэнк скрутил сигареты для себя и друга и еще одну для Альфа Симмондса, который стоял на часах – точнее, укрылся, сжавшись, на стрелковой ступени у них над головой. Джек затянулся скудной самокруткой и, не глядя на Фрэнка, сказал:

– Я не пойду.

– Куда ты не пойдешь? – не понял Фрэнк, и Джек засмеялся и указал в сторону ничьей земли:

– Туда, конечно. Туда не пойду.

Альф Симмондс тоже засмеялся и сказал:

– Еще бы!

Он решил, что Джек шутит, но Фрэнк-то понял, что это никакая не шутка, и ему стало тошно.

Все было тихо, пока не прозвучал приказ. Пушки смолкли, никто уже не смеялся, не шутил – все безмолвно ждали. Фрэнк смотрел, как по синему небу над головой идут облака, маленькие белые клочки, они плыли над ничьей землей, как над самой обыкновенной местностью, а ведь это – место, где он скоро умрет. Новый лейтенант был зеленым, как трава, которая тут уже давно не росла, и на лбу у него проступал пот – большими каплями, словно дождь. В первый раз им попался такой нервный лейтенант. И такой вредный. Фрэнк подозревал, что до этого лейтенанта скоро доберется снайпер, причем даже не обязательно вражеский. Рядовые все еще жалели о Малькольме Иннес-Уорде, который прокомандовал ими полгода, пока пуля снайпера не попала ему в глаз. Он помогал тащить раненого с ничьей земли, и его снял снайпер. Рядового, который ему помогал, тоже убили, а раненый потом все равно умер от газовой гангрены, так что все оказалось напрасно.

Джек хорошо ладил с Малькольмом Иннес-Уордом; они провели много часов в его офицерской землянке, болтая о политике и о жизни, и Джек особо тяжело перенес смерть лейтенанта. Иннес-Уорд и шум – вот что доконало Джека, решил Фрэнк.

Когда раздался приказ идти в атаку, это было скорее облегчением, и все полезли по лестницам через бруствер, пока в окопе не осталось только трое – Фрэнк, Джек и новый лейтенант. Фрэнк сам не знал, почему остался, – он лишь задержался на минуту, хотел удостовериться, что Джек все же пойдет, – но тут новый лейтенант начал на них орать, размахивать револьвером, угрожать, что пристрелит их, и Джек очень-очень тихо сказал: «Офицеры обычно поднимают солдат в атаку собственным примером, сэр», и не успел Фрэнк сообразить, что происходит, как на них уже смотрело дуло винтовки «ли-энфильд». «Не надо, сэр, мы уже идем», – сказал Джек и практически перетащил Фрэнка через бруствер, и не успели они оказаться наверху, как Джек заорал: «Беги!» – и Фрэнк побежал, потому что теперь больше боялся пули в спину из лейтенантовой винтовки, чем вражеского снаряда.

Фрэнк старался не терять Джека из виду – он был почему-то уверен, что рядом с другом у него больше шансов выжить. Он впивался взглядом в полковой значок на спине мундира и обрывок материи, привязанный на ремни снаряжения – аккуратно, как лента в девичьих волосах, – но Джек почти сразу исчез, и Фрэнк обнаружил, что наступает один в чем-то похожем на стену тумана (это был дым от больших пушек, которые опять начали стрельбу). Туман никак не кончался, но Фрэнк шел и шел, хотя не видел ни одного солдата, ни Джека, ни кого другого,

живого или мертвого.

Фрэнк далеко не сразу понял, что случилось. Его убили – наверно, тогда, когда он потерял Джека из виду. Скорее всего, его снял снайпер. И теперь он не участвует в наступлении на фронте, а странствует в аду, и именно так выглядит ад для Фрэнка – он осужден вечно идти по ничьей земле в сторону окопов противника.

Но пока Фрэнк пытался уложить в голове эту мысль, у него подвернулась нога, и вот он уже полухеал, полупадал по глинистому откосу в яму, держа винтовку над головой и крича во все горло, потому что это была адская пропасть, наверняка бездонная.

Но тут падение и скольжение прекратились, и Фрэнк перестал кричать и понял, что он в гигантской воронке от снаряда, где-то на двух третях глубины. Ниже была густая грязно-бурая вода, и в этой воде лежал труп лицом вниз. Вокруг трупа медленно, лениво нарезала круги крыса, и Фрэнк вдруг вспомнил, как они с Альбертом сами научились плавать в один удушливо жаркий день. Это было много лет назад, но сейчас казалось, что вообще в другой жизни. Они пошли в Клифтон-Ингс, и река Уз в том месте была как раз такого цвета, как вода в воронке. Джек тогда болел краснухой, поэтому они были вдвоем. Фрэнк закрыл глаза, втиснулся в мягкую грязь склона воронки и решил, что прошлое – самое безопасное сейчас место.

Он сосредотачивался изо всех сил и наконец ощутил солнце своего детства худыми плечами девятилетнего мальчика, погрузился в запах купыря и боярышника по берегам Уза. Теперь он чувствовал воду, какая она бывает, когда окунаешься первый раз, – удар холода и странное ощущение от того, что донный ил продавливается меж пальцев ног. И шершавость пеньковой веревки, которой они по очереди обвязывали друг друга – один плескался в реке, а другой стоял на страже, готовый вытащить приятеля, едва тот начнет тонуть. И раскидистую иву в серебристо-зеленой листве, что стелилась в воде, как девичьи волосы.

Фрэнк пробыл в воронке несколько часов и полностью воспроизвел в памяти тот первый, совместный с Альбертом урок плавания, до самого конца дня, когда оба уже могли доплыть почти до середины реки. Усталые, но торжествующие, они легли на твердую сухую землю под ивой и лежали, пока вода не испарилась с кожи. Фрэнк вспомнил, что у него в кармане куртки провизия (тогда еще жива была мать), и они сели и съели сплюснутые квадратики хлеба с вареньем. Закончив есть, Альберт повернул к Фрэнку измазанное вареньем лицо и сказал:

– Хороший денек выдался, а, Фрэнк?

Фрэнку показалось, что он уснул и проснулся, поскольку пушечный туман вдруг рассеялся и небо стало голубым. Наверху на краю воронки стоял Альберт, смеющийся, улыбающийся, и первое, что пришло Фрэнку в голову, – как похож Альберт на ангела, даже одетый в хаки и с кудрями, убранными под фуражку. На золотистой щеке виднелась тонкая черточка крови и грязи, а глаза голубели, как небо над головой, – голубее, чем незабудки на сервизе в гостиной дома на Лоутер-стрит.

Фрэнк хотел сказать Альберту что-нибудь, но не мог выдавить из себя ни слова. Оказывается, когда ты мертвый, это очень похоже на сон, в котором не можешь ни двинуться, ни крикнуть. Потом Альберт поднял руку, словно прощаясь, повернулся и исчез за горизонтом – краем воронки. Когда Альберт пропал из виду, Фрэнка охватило ужасное отчаяние, словно от него оторвали кусок, и он задрожал от холода. Через некоторое время он решил, что лучше всего будет пойти и отыскать Альберта, кое-как выбрался из воронки и пошел в ту сторону, где скрылся Альберт. Когда он притащился на перевязочный пункт и объявил санитарке, что мертв, она только сказала: «Ну, тогда посидите вон там в углу рядом с лейтенантом», и Фрэнк

пошел к стене из мешков с песком, к которой прислонился офицер на костылях, глядя в никуда одним глазом – второй был закрыт повязкой. Фрэнк сунул руку в карман и, к своему изумлению, обнаружил, что у него еще есть табак, так что сделал две самокрутки и дал одну лейтенанту. Фрэнк помог лейтенанту закурить (тот никак не мог приноровиться с одним глазом), и оба покойника стояли молча, с головокружительным удовольствием вдыхая табачный дым, а над ними угасал свет первого дня битвы на Сомме.

Лилиан продавала билеты в трамвае посреди Блоссом-стрит, когда вдруг холодный озноб пробежал по всему ее телу, несмотря на жаркий день. Не задумываясь, она стянула через голову машинку для продажи билетов, положила на сиденье, дернула звонок и сошла с трамвая, к изумлению пассажиров. Она прошла по Блоссом-стрит и Миклгейт. Перешла на бег еще до моста через Уз, и уже неслась, как будто за ней гонятся ожившие мертвецы, когда наконец свернула на Лоутер-стрит и увидела Нелл, которая сидела и ждала ее на крыльце. Лилиан растеряла все шпильки из волос, и на блузке у нее были огромные пятна пота. Она повисла на деревянной калитке, держась за вздымающиеся бока и хватая ртом воздух, но Нелл сидела не двигаясь, прислонившись к столбику крыльца и подставляя лицо лучам солнца. Она не бежала домой – просто вышла из пыльного душного подвала, где они целый день напролет сшивали раскroенное обмундирование, и медленно пошла по Монкгейт, будто на воскресной прогулке. В дом сестры попасть не могли, потому что Рейчел вышла за покупками, а про ключ обе забыли, и с минуту они лишь глядели друг на друга, изумленные силой своего инстинктивного стремления домой.

Тишину наконец нарушила Лилиан.

– Его убили, да? – выдохнула она, захлопнула за собой калитку, медленно пошла к дому по дорожке и рухнула на ступеньку рядом с Нелл. Прошло много времени, солнце перевалило через крышу и стало перебираться на соседнюю улицу, когда она добавила: – Он теперь на небе.

Нелл подняла голову и вгляделась в разреженный сияющий воздух, словно там мог показаться Альберт в сонме ангелов, но в небе ничего не было, ни облачка, ни ласточки, парящей на восходящих теплых потоках.

К тому времени, как пришла телеграмма, ее открыли и Лилиан зачитала вслух Рейчел: «С прискорбием сообщаем, что Альберт Баркер убит в бою 1 июля 1916 года. Посылаем вам свои соболезнования. Совет армии», сестры уже неделю носили траур.

В огневую позицию Альберта попали из миномета; снаряд упал прямо на тяжелую гаубицу и разбросал тела артиллеристов от центра наружу, в форме звезды, в центре которой было то, что осталось от пушки. Единственной меткой у Альберта оказалась черточка крови и грязи на загорелой щеке; на губах играла блаженная улыбка, словно у ребенка, только что заметившего маму в толпе; и не догадаешься, что его убило, пока не перевернешь тело – тогда становится видно, что ему весь затылок разнесло.

Фрэнку было очень странно, что Альберт с виду в полном порядке, но при этом мертв, а Джек, покрытый кровью с головы до ног и оттого похожий на христианского первомученика, жив. То, что в тот день все трое оказались на одном перевязочном пункте, казалось Фрэнку вполне естественным – совпадение было ничуть не более странным, чем то, что единственный труп, увиденный им за весь день (не считая тела в воронке, которое было там несколько дней), принадлежал Альберту. Джек не разговаривал с мертвым Фрэнком; он даже прошел совсем рядом, по-прежнему с залитым кровью лицом, и не заметил Фрэнка.

На самом деле, когда Фрэнк упал в воронку, Джек все еще был лишь на несколько шагов впереди. Джек просто шел и шел себе вперед; вокруг взрывались снаряды и свистели пулеметные очереди, он пересек всю ничейную землю и оказался у колючей проволоки ограждения немецких окопов. Даже тогда он не остановился, а прошел сквозь проволоку, словно под анестезией, и продолжал путь, пока не уперся в следующий барьер из колючей проволоки. Он даже не удивился, хотя многодневный артиллерийский огонь велся именно с целью уничтожить эту проволоку. Внезапно, как-то неожиданно, Джек очутился в немецком окопе и пошел по нему. Он набрел на небольшую землянку и подумал, что она гораздо лучше, чем была землянка Иннес-Уорда. Джек забыл, что Иннес-Уорд убит, и почти ожидал наткнуться на него за очередным углом. Но вместо этого нашел землянку, а в ней – трех прижавшихся друг к другу немецких рядовых, совсем молоденьких мальчиков. Один был очень белобрысый, один очень высокий и один – очень плотный, и Джек засмеялся, вспомнив мюзик-холльный номер, что показывали в театре «Эмпайр» еще до войны, – трое юношей, очень похожих на этих немецких солдат, плясали и пели песню, которую Джек сейчас не мог припомнить. Комический номер: артисты перебрасывали шляпу-цилиндр с головы на голову, приводя зрителей в восторг. Что же это была за песня? Джек очень жалел, что не может вспомнить. Он стоял и смеялся, и не удивился бы, если бы один из немецких солдат вдруг достал откуда-нибудь цилиндр, но те не двигались, так что Джек поднял винтовку и расстрелял в них всю обойму. Каждый из солдат по очереди запрокидывал голову и сползал по укрепленной мешками с песком стене землянки, а у последнего было такое удивленное лицо, что Джек снова засмеялся и решил, что этот номер тоже неплох. Он повернулся и пошел прочь, зная, что теперь уже никогда не вспомнит ту песню.

\* \* \*

После Соммы Джеку дали отпуск, и он побывал дома впервые за без малого два года. Раны его почти зажили – это были удивительно неглубокие царапины, оставившие на лице и руках сетку нитевидных шрамов, и Нелл очень гордилась, потому что человек с такими шрамами точно не трус. Джек даже медаль получил за храбрость, то есть за убийство трех немцев, и Нелл была очень разочарована, что он не хотел надевать медаль, когда они гуляли вместе. Нелл пыталась его пилить, чтобы он надел медаль, но он только очень странно посмотрел на Нелл, и она чуть было не напугалась.

С ним было очень трудно во время отпуска. Он каждый день приходил на Лоутер-стрит, но почти все время молчал, только мрачно сидел за столом, и Нелл была на волосок от того, чтобы потерять терпение и рассердиться на него за такую неучтивость. Впрочем, с Лилиан он разговаривал. Она к этому времени вступила в местное отделение Союза демократического контроля [10] и ходила на всякие лекции, и Рейчел сказала Джеку, что Лилиан лижет задницу врагам, все равно как Арнольд Роунтри, но Джек только посмеялся. Джек и Лилиан, кажется, были согласны почти во всем, и Джек даже сказал, что, по его мнению, отказники – храбрые люди, так что Нелл чуть не уронила чашку. Ей неприятно было смотреть на Джека и сестру, когда они сидели, сблизив головы, и беседовали бог знает о чем. Впервые в жизни Нелл ощутила неприязнь к сестре.

Нелл и Джек чуть не поженились во время этого отпуска; они обсуждали возможность раздобыть экстренную лицензию; Джека отпустили только на неделю, но эти дни пролетели как-то неожиданно быстро. Джек не захотел – он сказал, это не потому, что он ее не любит, а потому, что не хочет сделать ее вдовой. Нелл, конечно, не могла сказать, что лучше будет вдовой, чем второй раз оставленной на бобах невестой, и промолчала.

Перед самым возвращением Джека на фронт они пошли в «Электрик-синема» на Фоссгейт смотреть фильм «Битва на Сомме». Нелл все высматривала на экране улыбчивое лицо

Альберта, почему-то уверенная, что рано или поздно он там появится, хотя на самом деле ей было бы очень тяжело его увидеть. Все британские томми улыбались и хохотали, словно война – очень смешная шутка. «Сплошное веселье», как сказал бы Альберт. Конечно, они улыбались на камеру – запросто можно было себе представить, как кинооператор говорит бредущим мимо него на фронт колоннам: «Ну-ка, ребята, улыбочку!» Солдаты поворачивались к объективу, махали и улыбались, будто на Сомме их ждала однодневная развлекательная экскурсия. В фильме была показана тщательная подготовка – переброска войск, заградительный огонь артиллерии. На экране стреляли пушки и вылетали маленькие клубы дыма, похожие на облака. Оттого что звука не было, битва на Сомме казалась какой-то очень мирной. Нелл смотрела, как солдаты в одних рубашках и штанах с подтяжками заряжают большие пушки, и к горлу подступал комок – она вспоминала тот день, когда Джек чинил скамейку на заднем дворе.

Потом шло много кадров с пленными немцами – томми совали им сигареты – и с ходячими ранеными (с обеих сторон) – они хромали по окопам, – но саму битву как-то не показали. Был эпизод с солдатами, которым приказывают лезть через бруствер, и все они вылезли наверх и пошли в атаку, кроме одного, который долез доверху, а потом медленно соскользнул обратно. Потом шел кадр с двумя убитыми лошадьми, с подписью про бессловесных друзей, которые принесли высшую жертву, но в целом это выглядело так, словно в битве на Сомме мало кого убили, и трудно было понять, куда девались все убитые. (В каком-то смысле этот фильм соответствовал тому, что пережил на Сомме Фрэнк.)

Даже Нелл поняла, что в этом повествовании что-то не так, и когда загорелся свет и зрители, шаркая, стали пробираться к выходу, Джек и Нелл задержались на местах, и он наклонился к ней и очень тихо сказал: «Нелл, там все было совсем по-другому», а она ответила: «Да уж наверно».

А потом Джек уехал, но не на фронт, а в Шуберинесс. Фрэнк не знал, как это произошло, но Джек каким-то образом получил назначение в новую школу дрессировки собак – дрессировщиком собак-почтальонов.

\* \* \*

Джек больше не слышал пушек. Пушки никуда не делись, просто он их больше не слышал. По ночам у него в ногах лежала Бетси, и ровное дыхание собачки помогало заснуть ему самому. Спать с собаками было строго воспрещено – их полагалось запираť на ночь в клетки, но Джек обнаружил, что чем больше плюешь на правила, тем легче их нарушать. Бетси была его любимцей – маленький преданный вельштерьер, она ради него побежала бы и в адское пламя. Он и других двух собак любил, но не так, как Бетси. Бруно был немецкой овчаркой – большой флегматичный пес. Джек и Бруно хорошо понимали друг друга – оба знали, что должны умереть, и потому соблюдали уважительную дистанцию. В минуты меньшей ясности сознания Джек думал, что в Бруно перевоплотился покойный Малькольм Иннес-Уорд. Иногда по ночам он сидел на земле у псарни вместе с Бруно, как когда-то сидел с Иннес-Уордом, и по временам обнаруживал, что собирається скруťить вторую самокрутку и передать ее большому вежливому псу, но вовремя останавливался.

Третью собаку звали Пеп – это был маленький джек-рассел-терьер, самая быстрая и самая лучшая собака-почтальон. Пепу нравилось бегать; война для него была игрой; он стремглав несея обратно с запиской в жестянке, привязанной на шею: «В таком-то окопе кончаются патроны» или что-нибудь в этом роде, отскакивая от земли, не чуя под собой ног, огибая снарядные воронки, перепрыгивая препятствия, иногда описывая в воздухе сальто и снова приземляясь на ноги, он бежал прямо к Джеку и бросался к нему в объятия, доставая в

прыжке до плеча. Пеп раньше был чей-то. Джек видел письмо, которое пришло вместе с ним: «Наш папа ушел воевать с кайзером, пусть теперь Пеп тоже сделает что может. С любовью, Флора». Многие собаки раньше были чьи-то. Джек видел, как их привозили в Шуберинесс целыми фургонами после первого обращения к гражданам Британии. Часть везли из приютов для животных, где теперь было полно собак, брошенных хозяевами после введения продуктовых карточек. Но некоторые приехали прямо из семей. Интересно, думал Джек, что сказали бы хозяева, увидев, как отбирают собак для дрессировки. Ему самому было трудно на это смотреть. Собак кормили только раз в день; они видели, как для них наполняют миски, но перед тем, как открыть клетки, дрессировщики принимались кидать гранаты в расположенную рядом яму. Конечно, поднимался страшный грохот, и поначалу все собаки боялись вылезти из клетки, чтобы поесть. На третий или четвертый день собаки были страшно голодны, и самые храбрые – те, которым суждено было попасть на фронт, – выскальзывали на то, что для них было линией фронта, бежали к мискам, как можно быстрее глотали еду и мчались назад, в укрытие. Странное дело: всего через несколько дней эти собаки уже рвались с поводка наружу, лишь заслышав первый разрыв гранаты.

Неподходящих собак иногда отсылали назад – те, которым повезло, возвращались в собачьи приюты или к хозяевам, но чаще их просто пристреливали. Джек проводил ночи без сна, вспоминая некоторых, – одна собачка до сих пор стояла у него перед глазами, кроткий спаниель с каштановой шерстью, по кличке Дженни. Она каменела от ужаса при звуке взрывов, и в конце концов ее пристрелили за плачем. Даже сейчас, уже на фронте, Джек видел Дженни как наяву, она глядела на него большими влажными глазами, словно не веря, что с ней такое происходит. Когда Джеку вспоминалась Дженни, он тянулся к изножью кровати и гладил теплую Бетси, и она, прощая все, перекатывалась на другой бок и тыкалась ему в руку мокрым носом.

Джек знал, что Фрэнк считает его предателем. С собаками работать легко, псарни достаточно далеко от передовой, там безопасно – во всяком случае, безопасней, чем в стрелковом окопе. Фрэнк высказывал это мнение громко и неустанно любому желающему слушать. Он часто недоумевал, как это Джек отхватил себе тепленькое местечко, пока Джек не сказал ему, что получил назначение через брата Иннес-Уорда. «Ну ты и ловко устроился», – сказал Фрэнк однажды, наткнувшись на Джека. Место Фрэнка было в окопе обеспечения, но он пошел за Джеком в стрелковый окоп, куда Джек повел Бруно, чтобы проложить телефонный провод. Псу на спину прикрепили катушку провода, и он побежал прочь, наострив уши и виляя хвостом, будто на прогулке в парке. Часть телефонной линии проходила по ничьей земле, и Джек лег животом на бруствер, ободряюще посвистывая Бруно и стараясь не слышать Фрэнка, который никак не мог заткнуться. «Меня убьют», – без конца повторял Фрэнк. Он воскрес из мертвых и очень боялся, что снова придется умирать. Он теперь непоколебимо верил в то, что смерть неминуема.

вернуться

10

Союз демократического контроля – британская политическая группа, организованная в 1914 году и выступавшая за большее миролюбие в британской внешней политике. Не будучи пацифистским по своим воззрениям, Союз тем не менее противостоял группировке, выражающей интересы военного комплекса в британском правительстве.

– Меня разнесет на куски, а ты с этими проклятыми собаками останешься жив и невредим. И

тогда ты поедешь домой и женишься на Нелл, и будешь жить в тепле и холе, а я буду гнить в холодной земле, а знаешь почему? Потому что ты умеешь ловко устраиваться, а я нет.

Джек не сводил глаз с большого пса, который все быстрее бежал к нему, – вот осталось лишь несколько ярдов.

– Ты больше расстроишься, если снайпер пристрелит этого дурацкого пса, чем если убьют меня, – прошипел Фрэнк, когда тяжелая собака свалилась с бруствера в окоп и Джек приласкал ее и угостил вкусняшкой из кармана.

Джек промолчал: сказать ему было нечего, потому что Фрэнк был прав. Бруно значил для Джека больше, чем Фрэнк.

Сердитый Фрэнк все торчал рядом, ожидая услышать какие-нибудь слова, от которых ему станет легче. Но полегчало бы ему только от обещания, что он не умрет, а такого обещания Джек не мог ему дать. Он снял катушку провода со спины Бруно и уложил в вещмешок. Потом открыл клапан нагрудного кармана, вытащил что-то маленькое, странной формы, и сунул Фрэнку. Фрэнку на миг показалось, что это собачья лапа, но для собачьей она была слишком маленькой.

– Это кроличья лапка, на счастье, – сказал Джек, развернулся, позвал собаку, и они ушли по окопу и завернули за угол, прежде чем Фрэнк успел сказать хоть слово.

Джек много думал о том, что сказал Фрэнк. Отчасти ему было стыдно, что ему теперь на всех более или менее наплевать, но отчасти стало легче от сознания неминуемой смерти. Он представил себе, как возвращается домой, женится на Нелл, становится отцом, постепенно старится, – и это было так абсурдно, так неправдоподобно, что он засмеялся. Он прямо видел, как возвращается домой с работы, как Нелл в фартуке бежит накрывать на стол к ужину, как он возится в огороде летними вечерами, как водит сыновей на футбол. Представлять себе все это было легко, но наяву этого никогда не случится. С Нелл ему в любом случае жизни не было бы. Сначала она ему понравилась своей мягкостью – она была такая тихая, кроткая, – но теперь эта мягкость сильно смахивала на глупость. Если Джек сейчас и думал о какой-нибудь женщине, то скорее о Лилиан. Она гораздо живее, и у нее такие красивые раскосые глаза, совсем кошачьи, и, глядя на нее, начинаешь думать, что она втайне смеется надо всем, словно знает, как нелеп этот мир. Лежа без сна в темноте, Джек вспоминал и других. Малькольма Иннес-Уорда. Маленькую собачку Дженни и ее удивленно-доверчивые глаза. Но больше всех он думал про Альберта.

Он вспомнил Альберта и жаркий день много лет назад, когда они купались в Узе. Альберт плюхнулся на живот на берегу и, блестя мокрой спиной, как рыба, сказал:

– Мы с Фрэнком учили друг друга плавать вот тут, прямо на этом месте.

Джек сел и стал разглядывать кожу на спине Альберта, которая была прекрасней, чем у любой женщины. Альберт засмеялся – приглушенно, потому что лежал, уткнувшись лицом в руки.

– Что ты смеешься? – спросил Джек, потому что лопатки на спине Альберта содрогались от смеха.

Очень легко было представить, что сейчас сквозь шелковистую кожу пробьются бугорки крылышек. Джек сделал над собой усилие, чтобы не протянуть руку и не погладить косточки в том месте, откуда должны были прорасти крылья, и снова спросил:

- Что ты смеешься?

Но Альберт вскочил и снова нырнул в реку, а Джек так и не узнал, почему он смеялся. Может, просто от счастья. У Альберта была просто потрясающая способность испытывать счастье. Когда они расстались - Альберту надо было сворачивать на Парк-Гров-стрит, а Джеку дальше по Хантингтон-роуд, - Альберт крикнул ему вслед:

- Хороший денек у нас выдался, а?

Потом, когда Альберта не стало, Джек понял, что тот собирал хорошие деньки, как другие коллекционируют монеты или открытки.

\* \* \*

Фрэнк даже не удивился, узнав, что Джека убили. Он узнал все от своего друга, который был свидетелем происшедшего. Пепа, маленького джек-рассел-терьера, послали из передового окопа в тыл с сообщением, что нужны обоймы для «люисов», и он поскакал, как обычно, яростно вертя коротким хвостиком, отчего казалось, что он виляет всем телом, и его ударило в верхней точке очередного прыжка. Он упал на землю с диким визгом - ему раздробило шрапнелью заднюю лапу, а он непрерывно пытался подняться на ноги и побежать дальше. Джек кричал Пепу, звал его, пытаясь как-то подманить к себе, но бедный песик был слишком тяжело ранен. Все свидетели говорили одно и то же: пули свистели градом, но Джек пополз к собаке, не переставая ее звать и подбадривать. Может быть, вспомнил про девочку Флору, которая отправила своего любимца на фронт. Джек не дополз до Пепа - рядом взорвалась граната и разнесла его на куски, а Пеп продолжал душераздирающе выть. К счастью, один британский снайпер изловчился и пристрелил собаку. Снайпера звали Джорджи Мейсон - он-то и поведал Фрэнку всю историю. Он сказал, что, если бы пришлось слушать этот вой еще хоть минуту, он бы сам застрелился.

Что стало с Бруно, Фрэнк не знал, но судьба Бетси была печальной. Бетси не желала работать ни с каким другим дрессировщиком и некоторое время непрерывно бегала между передовой и псарней, ища Джека. Потом начала слоняться вокруг или ложилась на землю, так что об нее все спотыкались и обзывали нехорошими словами. В конце концов лейтенант отвел ее в сторону и пристрелил, потому что никто уже не мог смотреть в ее тоскливые глаза.

Фрэнк, получив кроличью лапку, зажил безбедно, как по волшебству, и смерть больше не заглядывала к нему до самого 1942 года. После перемирия он вернулся домой и женился на Нелл, которая уже убрала колечко с жемчугом и гранатами к другому колечку, с сапфировой крошкой, и ни разу не взглянула на них, пока не вытащила из комода тридцать лет спустя, чтобы подарить Дейзи и Розе на крестины.

\* \* \*

Свадьба была скромная, с венчанием. Нелл надела сиреневое платье, а Лилиан - серое, и, увидев их обеих в перчатках с жемчужными пуговками и больших шляпах с невесомой вуалью, Фрэнк подумал, что они похожи на порхающих бледных мотыльков. Он жалел, что не может жениться на обеих, - не потому, что любил Лилиан (она была слишком умна, слишком язвительна), но для того, чтобы беречь и охранять и ее тоже. Ему казалось, что теперь очень важно беречь и охранять всех, кто остался в живых. Когда они с Нелл за минуту до отправки в свадебное путешествие (они поехали в Озерный край - почему-то мысль о Скарборо у обоих вызывала неловкость) выглянули из окна вагона, помахать горстке провожающих (Рейчел, Лилиан, Тому с Мейбл и матери Перси Сиврайта), Фрэнку померещилась меж них его старая

приятельница смерть, и он почему-то не усомнился, что она явилась за Лилиан. Потом он, конечно, понял, что не за Лилиан, а за Рейчел, – та упала замертво, стоило поезду скрыться из виду.

\* \* \*

Фрэнк, кажется, смог благополучно оставить «великую войну» позади. Он был твердо намерен вести как можно менее примечательную и как можно более заурядную жизнь, омрачаемую разве что режущимися зубками детей или тлëй на розе флорибунда, которую он собирался вырастить у парадной двери дома на Лоутер-стрит. Военным воспоминаниям не было места среди этого семейного благоденствия. Впрочем, был один момент, вскоре после рождения первой дочери, Барбары, когда Нелл велела Фрэнку найти булавку и он, роясь в ящике комода, наткнулся на фотографию футбольной команды. Дрожь, как ледяная вода, пробежала у него по спине, когда он, переводя взгляд с одного лица на другое, понял, что из всех них в живых остался один человек – он сам. Он поглядел на Перси и чуть не засмеялся: когда Перси умер, это казалось такой трагедией, а теперь смерть стала обыденным делом. Фрэнк выбросил фотографию, предварительно изодрав ее в клочки, потому что знал: каждый раз при виде Альберта и Джека будет думать, что это они должны были выжить. А не он. Когда он вернулся со второго этажа без булавки, Нелл рассердилась на него, но постаралась не подать виду. Найти и удержать мужа оказалось настолько хлопотным делом, что ей совершенно не хотелось проходить через это еще раз.

У Фрэнка и Нелл было пятеро детей – Клиффорд, Бэбс, Банти, Бетти и Тед. Когда родился Клиффорд, у него уже был двоюродный брат. Эдмунд, сын Лилиан, появился на свет весной 1917 года. Лилиан не сказала, кто отец, даже когда Рейчел попыталась (безуспешно) выставить ее из дома. Одно время Нелл боялась, что ребеночек родится с густыми черными волосами и острыми скулами, похожими на ракушки. Это было бы очень плохо, но все почему-то оказалось гораздо хуже, когда обнаружилось, что у ребенка ангельские золотые кудряшки и глаза цвета незабудок.

### Глава третья

1953

#### Коронация

Королева в огромном белом платье – как воздушный шар, который вот-вот взлетит под потолок Вестминстерского аббатства и будет там болтаться среди позолоченных арок и рельефных розеток. Чтобы этого не случилось, ей все время добавляют плащей, мантий, скипетров и держав, пока она не тяжелеет настолько, что таскать ее с места на место приходится епископам. Мне королева напоминает заводную китайскую куклу, которую дядя Тед привез Патриции из Гонконга, – обе скользят по паркету, не показывая ног, и хранят на лице многозначительное бесстрашие. Разница только в том, что у куклы ног нет; вместо них – маленькие колесики. Новоиспеченная же королева, надо полагать, перемещается по толстому пунцовому ворсу ковра все же с помощью ног. О цвете ковра на коронации можно, конечно, только гадать, так как коронацию мы видим в уменьшенном варианте, в различных оттенках серого цвета на маленьком экране телевизора марки «Фергюсон», водруженном в углу гостиной Над Лавкой.

Телевизор – подарок Джорджа жене, компенсация за то, что ей приходится растить детей Над Лавкой, а не в нормальном доме. Мы не можем похвастаться, что завели телевизор первыми на нашей улице, – нас опередила мисс Портелло, хозяйка магазина детской одежды «Хэплэнд».

Но мы вторые, и, что гораздо важнее, мы – первые из всей родни, так как ни со стороны Джорджа, ни со стороны Банти еще никто не владеет столь вожаделенным предметом.

Банти разрывается на части. Она, естественно, гордится телевизором и хочет им похвастаться, а коронация для этого как нельзя более удачный случай. Но в то же время ей невыносимо, что в ее дом набилось столько народу. Бесчисленное количество сэндвичей! Бесчисленные чайники с чаем! Да будет ли этому конец? Она стоит на кухне и мажет маслом сконы – они уже навалены на блюде грудой, как булжники. Банти несколько недель сберегала сливочное масло для выпечки на коронацию, складывала его в холодильник вместе с тем, что ей удалось выпросить у матери, Нелл, и у золовки, тети Глэдис. Банти напекла роскошных и разнообразных лакомств, ибо «хорошая повариха знает – ничто не дает такой возможности себя проявить, как красивая выпечка, изящно украшенные пирожные или золотистое печенье, только что вынутое из духовки» – так написано в книге «Идеальная кулинария» издательства Компании газовых плит Паркинсона, а эта книга для Банти все равно что Библия.

Кроме сконов, Банти приготовила несколько блюд сэндвичей с ветчиной (ветчину любезно предоставил Уолтер, мясник-ловелас), кокосовые мадленки, «ламингтоны», «розанчики с карамелью» («весьма изысканно!»), не говоря уже о блюде под названием «пикканини» (австралийском!) и «лепешках-смуглянках» – последние два, очевидно, в честь наших младших братьев из Содружества наций. Вся выпечка едва заметно отдает прогорклым маслом, слишком долго пролежавшим в новеньком холодильнике Банти «Фриджидейр» («Все, что меньше, – недостаточно велико!»), еще одном утешительном подарке Джорджа. Кроме того, Банти приготовила булочки с колбасным фаршем, тетя Глэдис принесла огромный пирог со свиной, а тетя Бэбс – два флана, один с красиво уложенными консервированными персиками и вишнями в сиропе, другой с консервированными грушами и виноградом. Пироги тети Бэбс вызывают у собравшихся восторг и зависть. Банти думает, что сестре просто делать нечего, раз у нее есть время на выпечку таких идеальных, безупречных кругов. «Неизвестно, как она крутилась бы, будь у нее столько же детей, сколько у меня», – думает Банти, добавляя в кучу последний скон. Банти как та старушка из стишка, что жила в башмаке «с оравой детей – что ж делать с ними ей?».

– Народу набилось, как в калькуттской «черной дыре», [11] – говорит она Джорджу, который заходит в кухню в поисках запасов бурого эля. – И детей слишком много, – добавляет она, подумав; как будто существуют нормативы, ограничивающие число детей на семейных собраниях.

Нас действительно много. Одна из этих детей – я. Я лавирую под ногами у взрослых, как гончая на собачьих соревнованиях. Я здесь и там, я повсюду. Не знаю, как я умудряюсь передвигаться с такой быстротой: вот я стою у телевизора, а секунду спустя уже несусь по коридору в кухню. Если моргнуть, то, пожалуй, покажется, что меня две. Может быть, у меня, как у той китайской куклы, колесики вместо ног. Но вообще я очень развита для своих лет. Люди вечно смотрят на меня с подозрением и спрашивают Банти: «Она очень развита для своих лет, верно?» – «Эта-то? Да, она точно умная слишком», – подтверждает Банти.

Наш список гостей, пришедших на коронацию, не такой длинный, как у королевы. Во-первых, нам некого пригласить из стран Содружества, хотя, по слухам, тетя Элиза дружит с супружеской парой с Ямайки – эта тема занесена Джорджем в список строжайших табу (тетя Элиза – его невестка, жена его брата Билла). Среди прочего нам запрещено говорить об операции тети Мейбл, о руке дяди Тома и о хилости Адриана. Дядя Том нам не дядя, он приходится дядей Банти и тете Бэбс, а сегодня его пригласили, потому что ему некуда деваться – тетя Мейбл в больнице, где ей делают неназываемую операцию. (Рука у дяди Тома деревянная – копия той, которую ему оторвало давным-давно.) Адриан – наш двоюродный брат,

единственный сын дяди Клиффорда и тети Глэдис, и мы не знаем, хилый ли он, так как у нас нет других знакомых десятилетних мальчиков для сравнения. Адриан притащил своего пса-боксерса Денди, и я думаю, что размер тугих тестикул пса, торчащих меж задних лап, – еще одна запретная тема для разговора. Денди с его ростом как раз удобно сбивать меня с ног, что он и проделывает регулярно к большому веселью Джиллиан и Люси-Вайды.

Люси-Вайда – наша двоюродная сестра, дочь тети Элизы и дяди Билла (Банты с большим удовольствием не приглашала бы никого из родни со стороны Джорджа). Тетя Бэбс тоже привела мужа, дядю Сиднея – кроткого и бодрого человека, которого мы очень редко видим. Зрители, смотрящие репортаж с коронации, постоянно делятся на фракции и партии то одним, то другим манером. Самое популярное разделение – самое древнее, на мужчин и женщин. Все собравшиеся приходится какой-нибудь родней друг другу, кроме Денди и миссис Хейвис, соседки Нелл, совсем одинокой (у нее никого нет, подумать только!).

Джиллиан в своей стихии: люди в гостиной для нее зрительская аудитория, готовая ей внимать. Единственный ее соперник – телевизор, так что она изо всех сил старается его загородить, танцуя перед ним и демонстрируя панталончики под платьем с оборчатым корсажем и пышными нижними юбками, которые раздуваются вихрем, – все новенькое, только что из витрины «Хэпланда». Кузина Люси-Вайда, обладательница непревзойденных длинных прямых волос и длинных тонких ног, балует Джиллиан, как любимую кошечку, и говорит с густым донкастерским акцентом что-нибудь вроде «Поди сюда, малышка», когда та уж чересчур надоедает взрослым. Джиллиан боготворит Люси-Вайду за то, что она берет уроки танцев. У Люси-Вайды волшебные ноги, которые постоянно бьют чечетку, – она не может остановиться, так что всегда сигнализирует о своем присутствии, как маленькая слепая.

Зрители, собравшиеся в гостиной, недовольно вздыхают (все, кроме дяди Теда, который обожает маленьких девочек, особенно если они показывают панталончики), когда Джиллиан раздражается песней «На самолете „Леденец“». [12] Трудно поверить, но это правда: слово «умилительный» в приложении к Джиллиан обретает новую силу. Джиллиан единственная из моего поколения унаследовала ангельский ген – у нее, как у покойных Ады и Альберта, густые пружинистые светлые кудряшки. Она еще не знает, что за эту неземную красоту обычно приходится платить безвременной смертью. Бедная Джиллиан!

вернуться

11

Камера в калькуттском форте Уильям, где в ночь на 20 июня 1756 года задохнулись 123 из 146 англичан, брошенных туда захватившим город бенгальским навабом Сирадж уд-Даулой.

вернуться

12

«On the Good Ship Lollipop» – популярная песня Ричарда Уайтинга на стихи Сидни Клэра, спетая Ширли Темпл в фильме «Сияющие глазки» (1934).

Люси-Вайда получает конфету за то, что увела Джиллиан в прихожую и принялась учить пяти основным балетным позициям. В телевизоре в это время юную королеву «препоясывают мечом», и Патриция услужливо дополняет комментарий Ричарда Димблби отрывками из

«Подарочной книги на коронацию для мальчиков и девочек» издания «Дейли график». Мы узнаем, что это «означает акт прекрасного символизма, власть государства, направляемую на служение Богу». Писклявый голосок Патриции запинаясь на слове «символизм», – в конце концов, ей только семь лет, хотя по чтению она лучшая в классе и обычно считается чрезвычайно способной ученицей. Патриция берет себя в руки и рассказывает нам, что «меч, украшенный драгоценными камнями» был изготовлен для коронации Георга IV, и тем провоцирует среди части взрослых спор о месте Георга IV в хронологической последовательности королей. Понятно, что он шел после Георгов I, II и III, но был ли кто-нибудь еще непосредственно перед ним? Кто-то предлагает королеву Анну в качестве амортизирующей прокладки между третьим и четвертым Георгами, но тут разражается новый спор о том, кто такой вообще этот Георг IV. Дядя Билл утверждает, что он – «толстый болван, который построил ту штуку в Брайтоне», а дядя Клиффорд упорствует, что «это тот, который прохлопал Америку». (Спросили бы домовых призраков – они все это помнят как сейчас!)

Для разрешения спора призывают Патрицию. Я боюсь, что это тяжелое бремя для семилетнего ребенка, но Патриция страстная роялистка и уже вызубрила на память половину генеалогического древа королевской семьи, начиная с Эгберта (827–839). [13] К несчастью, она пока дошла только до Эдуарда II и не может помочь с тайной Георгов.

Оставшаяся часть аудитории (Нелл, миссис Хейвис и тетя Глэдис) уже занялась следующими Георгами (V и VI) и впадает в разнузданную ностальгию, когда Банти приносит альбом «Георг V – семьдесят славных лет», а кроме того, оказывается, что книга Патриции, разумеется изданная до сегодняшней коронации, полна фотографий с коронации Георга VI. Его все любовно зовут «старый король», словно Англия – большое волшебное королевство, полное девушек-гусятниц, злых королей и «старых королей», которые курят трубку и носят туфли, расшитые золотыми коронками.

Фракция Георгов I–IV – это по совместительству также фракция бурого эля, клика женатых приверженцев марки «Уотнис». В нее входят дядя Сидней, дядя Клиффорд, дядя Билл, Джордж и для ровного счета один холостяк, дядя Тед.

Сувениры предшествующих коронаций теперь лезут из всех щелей – на сцену вносят принадлежащий моему отцу кувшин с эмблемой коронации Эдуарда VIII, исторического события, которое на самом деле не произошло. Таким образом, кувшин представляет своеобразный философский интерес. И конечно, есть еще ложечка с коронации Георга VI, некогда принадлежавшая Ине Тетли, а теперь – Банти. Если совсем точно, она краденая (см. *Сноску (iii)*).

Поскольку Патриция – школьница, у нее оказывается самый большой набор самых ценных сокровищ, и ее вытаскивают в центр внимания, чтобы она с робкой гордостью продемонстрировала: 1) коронационную кружку, 2) юбилейные монеты в пластиковом кармашке, выпущенные по случаю коронации, 3) коронационную медаль (точно такую же новоиспеченная королева сегодня пришьет на грудь маленькому принцу Чарльзу), 4) тянучки в роскошной фиолетовой с серебром жестянке с изображением коронации, 5) уже упомянутую «Подарочную книгу на коронацию для мальчиков и девочек» издания «Дейли график» и 6) предмет, последний по порядку, но не по значению, – британский флаг. Сама она из патриотических соображений одета в школьную форму – желто-коричневое бумазейное платье, коричневый блейзер и коричневый берет. Я – как и Джиллиан в роскошном белом наряде – красуюсь по случаю праздника в своем лучшем платье, из лимонно-желтой тафты с маленьким круглым отложным воротничком и короткими рукавчиками-фонариками. На Люси-Вайде – очередное причудливое самодельное творение тети Элизы. Каждый раз, когда Люси-Вайда приезжает к нам из глубин Южного Йоркшира, она выглядит так, словно собралась на

карнавал. Буйная игла тети Элизы драпирует ее в тюль и шифон, оборки и фальбалы, так что Люси-Вайда на длинных тонких ногах выглядит как экзотический цветок, растрепанный ураганом.

Мы все знаем, что тетя Элиза «вульгарна» – «вульгарней не бывает», как выражается Банти. Мы знаем, что к этому имеют какое-то отношение черные корни ее светлых волос, серьги с огромными стразами и тот факт, что она – даже в день коронации! – не носит чулок, бесстыдно демонстрируя ноги в ямках и пятнах, покрытые синими прожилками, словно сыр. (Не говоря уже о том, что ее привечают во фракции Георгов I-IV, где она обдаёт мужчин оглушительным хохотом, примиряя их с существованием на свете женщин.) Руки тети Элизы, кажется, постоянно заняты стаканами и сигаретами, а если одна рука вдруг свободна, тетя Элиза ловит ею первого попавшегося ребенка, дабы запечатлеть на его щеке смачный слюнявый поцелуй. Для нашей семьи это, мягко говоря, несколько необычное поведение.

Тетя Элиза привезла всем девочкам по подарку – самодельной короне с цветами из гофрированной бумаги, точно такой, как у девушек из свиты королевы. Тетя Элиза даже проводит маленькую коронационную церемонию – мы все выстраиваемся на ступенях лестницы, и тетя Элиза возлагает коронки нам на головы, пришивая неудобными заколками-невидимками. Я почему-то растрогана этим мероприятием, и даже боль в коже головы, истерзанной заколками, убывает от принесенного тетей Элизой роскошного дара к праздничному столу, липкого бумажного пакетика с фруктовым мармеладом «Баркер и Добсон». Бедный Адриан мрачен, одна щека оттопырена мармеладиной – он обиделся, что его изгнали из королевства бумажных цветов за неподходящий пол.

– Не расстраивайся, детка, – утешает его Люси-Вайда. – Если хочешь, я тебя научу садиться на шпагат.

И Адриан заметно светлеет лицом.

В целом тетя Элиза нам нравится. Даже серьезная Патриция соглашается посидеть у нее на колене и открывает ей кое-какие (не самые важные) секреты – какой у нее любимый предмет в школе, какая еда в школьной столовой ей больше всего нравится и кем она хочет быть, когда вырастет (ответы: математика, никакая, ветеринаром).

Дейзи и Роза почти не принимают участия в происходящем – два маленьких совершенства, они образуют самодостаточный мир. Они одеты одинаково и заканчивают фразы друг за друга (то есть когда вообще снисходят до разговора с нами – между собой они общаются на своем тайном языке). На других людей они смотрят ровным холодным взглядом, за который потом получают эпизодические роли в фильме «Пришельцы с Марса». Адриан слишком молод для фракции бурого эля, но его не особо привечают и в другом кружке, преимущественно женском, где собрались поклонницы «старого короля», – к ним только что присоединилась тетя Бэбс, и сейчас они дружно воспевают панегирик королеве-матери (наверно, ее правильнее называть «старой королевой», но никто ее так не зовет). «Королева-мать» – не правда ли, интересное выражение? Королева всех матерей, мать всех королей. Банти не прочь была бы оказаться королевой-матерью. «Королева Банти, королева-мать». Тогда я была бы «принцесса Руби» – правда красиво? Гораздо лучше, чем «принцесса Джиллиан» или «принцесса Люси-Вайда».

Королевы-матери наливаются хересом – бурой паточной микстурой от кашля, смертельной на вкус. Тетя Бэбс несет рюмку хересу вниз, на кухню, для Банти, которая смазывает молоком булочки с колбасным фаршем, прежде чем сунуть противень в духовку.

– А я думала, про меня все забыли, – высокомерно говорит Банти, беря рюмку и деликатно

пригубливая.

- Ты пропустишь коронацию, - говорит тетя Бэбс, и Банти награждает ее виртуозным взглядом, безмолвно и отчетливо говорящим: а кто будет вас всех обслуживать?

- Помазание миром началось! - возбужденно пищит наверху Патриция, и тете Бэбс удается уломать Банти оставить булочки непомазанными и подняться наверх, чтобы увидеть, выражаясь словами «Дейли график», «наиболее торжественную и важную часть церемонии». Настолько торжественную и важную, что королеву закрывает толчея епископов, и самого миропомазания собравшиеся Над Лавкой не видят.

вернуться

13

Эгберт Великий (769/771-839) - король Уэссекса, правил в 802-839 гг.

- Прекрасный телевизор, - говорит тетя Глэдис, когда Бэбс притаскивает Банти обратно в комнату.

Банти улыбается и угодливо благодарит, словно в прошлой жизни лично помогала Лоуги Бэрду изобретать телевидение.

- Прекрасная фанеровка под орех, - говорит дядя Том, и все согласно бормочут.

- Банти, у тебя очень красивое платье, - вдруг произносит дядя Билл, и Банти слегка дергается: Билл ей не нравится (по той единственной причине, что он - родственник Джорджа). Если Билл, человек с полным отсутствием вкуса (это святая правда), одобрил платье, значит, думает Банти, с этим платьем что-то непоправимо не так.

Платье на самом деле чудовищное - уникальное в своем роде произведение, вязаное, в коричневую и желтую полоску с продернутой люрексковой ниткой, так что Банти в нем похожа на осу, которая собралась на новогоднюю вечеринку.

- «И вот наступил момент, которого ждали все британцы, все граждане стран Содружества и империи», - читает вслух Патриция.

- Великий момент! - говорит дядя Тед, заглядывая ей через плечо.

Его рука, едва касаясь, лежит на спине школьного блейзера племянницы - вроде бы вполне естественный для любящего дядюшки жест, но, если вдуматься, не очень. В любом случае он неудачно выбрал объект: Патриция терпеть не может, когда ее хватают, и очень быстро выкручивается из-под дядюшкиной руки.

Тут в комнату снова влетает Джиллиан, полная решимости продемонстрировать всем свои пируэты, и начинает крутиться перед экраном, как раз когда королеве на голову возлагают корону, так что половина зрителей начинает вопить «Боже, храни королеву!», а другая половина - «Джиллиан! Отойди сейчас же, противная девчонка!». Джиллиан надувает губы, ангельские кудряшки трясутся от огорчения, и Люси-Вайда материнским жестом простирает руку и говорит:

- Поди, миленькая, поди со мной.

И обе упархивают делать что-то важное с куклами. Ни у Патриции, ни у меня кукол нет. Патриции они ни к чему, – впрочем, она часто занимает кукол у Джиллиан, чтобы играть с ними в школу. Патриция любит играть в школу. Она очень строгая учительница – я-то знаю, потому что иногда она использует вместо куклы меня.

Признаться, я бы не отказалась от куклы, хотя у них у всех, кажется, жесткие волосы, формованные из пластмассы, и злые лица. Джиллиан дает своим куклам имена – Джемайма, Арабелла. У Патриции есть панда (по имени Панда – Патриция не любительница причудливых имен), к которой она очень привязана, а у меня – плюшевый медведь (по имени Тедди), который мне ближе любой родни. У меня уже на удивление обширный словарь – из десяти слов: конечно, в него входит «Тедди», а также «мама», «папа», «Пась» (Патриция), «Зы» (Джиллиан), «баба» (Нелл), «бай-бай», «лавка», «доти» (универсальное слово, обозначающее все остальные предметы и явления) и самое главное слово – «Мобо».

Я нутром чую, где Мобо сейчас, – на Заднем Дворе. Банти уже опять на кухне, ставит булочки в духовку, и когда мы с Тедди шлепаем к задней двери, любезно выпускает нас. Я делаю глубокий вдох... Вот он! Свет моих очей! Конь Мобо, пожалуй, самое прекрасное на свете творение рук человеческих. Ростом он будет все пять с половиной ладоней в холке, сделан из серой в яблоках жести, на гриве завивка-перманент, пышный хвост. Глаза у него добрые, спина твердая, на спине алое седло, поводья и педали тоже алые (и тоже из жести). В лучах солнца, заливающих Задний Двор (нам гораздо больше повезло с погодой, чем бедной королеве), он смотрится великолепно, – кажется, что он раздувает ноздри и сейчас начнет бить копытом. Патриция по доброте душевной и в приливе патриотизма украсила его лентами из шотландки, так что роскошным убранством он не уступит ни одной из лошадей, которые сегодня шли парадом по Мэллу.

Мобо купили для Джиллиан (утешительный приз за мое появление), но она из него уже выросла, и официально он перешел ко мне. Впрочем, для Джиллиан это ничего не изменило – она по-прежнему ревниво и яростно стережет его, не подпуская меня и близко. Но сейчас она в доме с Люси-Вайдой, а мой славный скакун – вот он, привольно пасется на Заднем Дворе, никем не охраняемый, не спутанный, и на кратком отрезке пространства и времени – безраздельно мой!

Я пронзительно и неустанно оглашаю воздух заклинанием: «ДотидотидотидотидотидотиМобо!», и оно действует – Банти помогает мне взобраться в седло вождя коня, и я радостно пускаю его в галоп по Заднему Двору. Точнее, строго говоря, не совсем в галоп. Мобо не простой конь, а педальный. Сидя на нем, нужно изо всех сил работать ногами, и тогда он рывками продвигается вперед. Я налегаю на педали изо всех сил и притворяюсь, что тяну золотую карету, – это продолжается не меньше десяти минут, после чего является грозная Немезида.

Порыв холодного ветра, кухонная дверь театрально распахивается, и темная тень падает поперек двора. Тень не просто темная – у нее есть глаза, черные, как чернила спрута, и горящие ненавистью, ревностью и жаждой убийства. Да, это наша Джиллиан! Она тяжелой торпедой несется через двор, нацеленная в одну точку, стремительно переваливаясь и неумолимо ускоряясь, так что, когда наконец достигает Мобо, уже не может остановиться и продолжает движение. Она сбивает на землю и меня, и коня, делает сальто через его спину и приземляется попой в панталонах с оборочками на твердые плиты двора. Мобо отлетает через весь двор – на металлических боках остаются некрасивые глубокие царапины. Он лежит на боку, тяжело дыша, а я – на спине, глядя в июньское небо и гадая, не умерла ли я. На затылке у меня пульсирующий синяк, но я, оглушенная ударом, не кричу.

В отличие от нашей Джиллиан, которая орет так, что и мертвого разбудит, и даже Банти побуждает выглянуть из кухни и посмотреть, в чем дело. Неподдельное горе Джиллиан почти трогает Банти. «Осторожнее надо», – говорит она. Не ахти какое сочувствие, но от Банти и такого редко дождешься. Вокруг порхает Люси-Вайда, скорбно топоча – топ-топ, топ-топ, – и помогает Джиллиан встать на ноги, без усталости оплакивая ее наряд. Действительно, непорочная белизна Джиллиан запятнана алой кровью – цвет коронации, – а изодранная корона съехала на шею, как цветочная петля.

– И-и-и, бедняжка, – сочно причитает Люси-Вайда, – пойдем со мной, мы тебя отчистим.

Они уходят рука об руку, а мы с Мобо остаемся одни, и о нас заботится только Денди – он вылизывает нас, умывая, как может, горячей слюнявой пастью, откуда подозрительно пахнет булочками с колбасным фаршем.

\* \* \*

Остаток дня проходит в тумане, – похоже, у меня сотрясение мозга. Я точно помню, что, добредя до гостиной, застала там сцену элегантных забав. Фракция бурого эля уже явно перепилась и играет в покер в углу. «Юнион-джек» Патриции перекочевал на рейку для фотографий у них над головой, частично закрыв наши лица, по тридцать шесть крохотных черно-белых лиц в каждой рамке «полифото» – тридцать шесть Патриций, тридцать шесть Джиллиан и почему-то семьдесят две меня. Кажется, что у Банти действительно слишком много детей, сотни крохотных девочек, которые ее пожирают просто из вредности.

К клике королевы-матери присоединился дядя Том; все они, напялив бог знает откуда взявшиеся бумажные шляпы, вспоминают День победы и как его праздновали всей улицей. И тетю Бетти, которая живет так далеко, по ту сторону Атлантического океана, и напоминает нам о себе тем, что до сих пор шлет продуктовые посылки. Партия королевы-матери тоже уже успела хорошо приложиться к бутылке хереса, а Банти в порядке исполнения обязанностей хозяйки нацепила пиратскую шляпу и руководит игрой «Я вижу что-то на букву...», участники которой надрывают животики от смеха. Адриан и Денди на заднем дворе играют в игру, в которой один бросает, а другой приносит, – правда, роли иногда перепутываются. Дядя Тед наверху с Люси-Вайдой и Джиллиан играет в «Сюрприз». Концентрация алкоголя Над Лавкой скоро превысит допустимые пределы, и я чувствую облегчение, когда Банти глядит на меня, в ужасе зажимает рот руками и восклицает: «Они еще не в постели!»

Но я боюсь, что наша мать слишком увлеклась хересом, чтобы перейти от слов к делу; пиратская шляпа уже залихватски съехала набок, и только широкая спина тети Глэдис не дает Банти свалиться с подлокотника дивана.

Тетя Элиза кудахчет, как взрослая версия Люси-Вайды, и, бросив игру («Я... вижу... что-то... на букву... Т!», а ответ – как вы уже догадались – телевизор), сбивает детей в кучу, как овчарка стадо, и гонит наверх, в постели. Тетя Элиза менее строго, чем Банти, подходит к ритуалу укладывания. У Банти мы выстраиваемся в ванной, как на плацу, и моемся, чистимся и скребемся едва ли не до полного исчезновения. Тетя Элиза ограничивается тем, что проводит мокрой мочалкой по наиболее замурзанным частям наших организмов, а потом разгоняет по спальням, где еще по-летнему светло. Люси-Вайда и Джиллиан делят одну кровать, валетом, как сардинки в банке. Близнецам достается кровать Джорджа и Банти – одному небу известно, как отнесется к этому Банти, когда оставит свой пиратский корабль и, шатаясь, дойдет до постели. Адриана разместили в какой-то из собачьих клеток вместе с Денди. Кажется, весь свет намерен ночевать у нас и укладывается в Лавке. Никто, однако, не пытается въехать к Патриции – даже в семь лет она непоколебимо охраняет свою крепость, отражая все атаки.

Может быть, она спит вниз головой, как летучая мышь, зажав панду под крылом.

\* \* \*

Несколько часов спустя я вдруг просыпаюсь и рывком сажусь на постели. Я вспомнила, что Тедди остался где-то на заднем дворе, преступно позабытый из-за катастрофы с конем.

Окна моей спальни выходят на Задний Двор, и я подбегаю к окну, высматривая Тедди. Небо волшебного темно-синего цвета полно звезд, похожих на серьги тети Элизы. Для такого позднего времени во дворе почему-то очень оживленно. Мобо по-прежнему лежит на боку – вероятно, спит, хотя корона Патриции, возложенная ему на голову, подозрительно напоминает кладбищенский венок. Над ним стоит Денди, сверкая черными глазами во мраке. К задней калитке неловко привалился Джордж, сливаясь в пульсирующем объятии с невидимой женщиной. Брюки у него некрасиво спущены. Из-за спины торчит одна голая, без чулка, нога, и хриплый голос, хихикая, произносит: «Давай-давай, миленький, так держать». Я решаю, что придется оставить Тедди в этой сомнительной компании до утра и утром подобрать его сбрызнутое росой тело.

Из спальни Джиллиан доносится дробный топот. Возможно, это Люси-Вайда бьет чечетку во сне.

Патриция сидит в кровати и читает при свете ночника с Бемби и зайчиком Тук-Туком. Она уже дошла до последней, седьмой главы «Подарочной книги на коронацию для мальчиков и девочек» издания «Дейли график». Глава называется «Новый елизаветинский век». В ней перечисляются обязанности мальчиков и девочек, которые «станут взрослыми гражданами, новыми елизаветинцами», в стране, которая «по-прежнему возглавляет западную цивилизацию». Призывы этой главы падают на благодатную почву. Патриция запишется в брауни и заработает все возможные награды, прежде чем перейти в герл-гайды; она будет ходить в воскресную школу; она будет прилежно учиться (но странное дело, несмотря на отличную учебу и всю внешкольную активность, у нее так и не будет друзей). И еще она будет держаться принципов. Будущее, которое рисует «Дейли график», не сможет, однако, помочь Патриции, у которой в ДНК сплелись две нити, отчуждение и отчаяние; но книга волнует и будоражит, ее призывы весьма благородны. «Ты повзрослеешь и, когда детство останется позади, возьмешь на себя определенные обязанности и ответственность. Это немножко пугает, но ты знаешь не хуже меня: нашей стране доводилось совершать ошибки, но уж мужества нам не занимать».

Как мы все горды в этот день! Обитатели дивного нового мира, с каким нетерпением мы ждем путешествия в будущее. Патриция засыпает с королевскими благословениями на губах. «Боже, храни королеву, – бормочет она. – И всех жителей Соединенного Королевства». И домашние призраки откликаются эхом, дрожащим в вечернем воздухе. Они тоже празднуют – по-своему, по-призрачному, при свете закопченных шандалов и заляпанных салом канделябров. Они танцуют призрачные менуэты и гавоты – «Йоркскую причуду» и «Радость матушки Картрайт». Вероятно, переняли их у мсье Рошфора, который дает уроки танцев в зале над «Платаном». Чего только не видели призраки в этом древнем городе – осады и воздушные налеты, пожары и резню, рост и распад империй. Они были свидетелями коронации римского императора Константина – рукой подать отсюда – и падения железнодорожного короля Джорджа Хадсона. Они видели голову бедного Ричарда Йоркского на пике над городскими воротами и доблестных роялистов, осажденных в городских стенах. И все же они, собрав все силы, присоединяются к Патриции в последнем слабом, но храбром тосте – вздымаются стаканы, трубят рога и развевается великий орел-аквила Девятого легиона. Боже, храни нас всех!

Для Банти Вторая мировая война ознаменовалась поисками не столько мужа, сколько собственного «я».

Когда началась война, Банти работала в магазине под названием «Моделия – дамская модная одежда высшего качества». Банти пришла туда двумя годами раньше, сразу после окончания школы. Ей очень нравилось, как спокойно текут дни за днями в лавке, хоть она и грезилась из всех сил о восхитительных вещах, которые таит для нее в запасе будущее, – например, обаятельном и потрясающе красивом мужчине, который вдруг появится ниоткуда и унесет ее к коктейлям, круизам и меховым манто.

«Моделия» принадлежала мистеру Саймону, но заправляла магазином миссис Картер. Мистер Саймон именовал миссис Картер своей «менеджерессой» («Теперь это так называется?» – связывал отец Банти). Банти не очень поняла, что имел в виду отец, но, несомненно, в ее работодателях было что-то подозрительное. Например, то, что мистер Саймон был иностранец, более того – венгр, хотя, когда началась война, он стал все время упоминать о своем британском гражданстве. Он был коротенький, с блестящей лысой головой, всегда безукоризненно одетый, с большой золотой цепочкой от карманных часов, пересекающей жилет.

– Он ведь жиденек, верно? – спросил Клиффорд, брат Банти, когда она только устроилась на эту работу, а Фрэнк кивнул и потер большим пальцем об указательный.

Банти не переносила Клиффорда с его мнениями. Она и Бетти соглашались у него за спиной, что он много о себе воображает. «Жиденек» было странное слово, совсем не подходящее мистеру Саймону: он никогда не был скуп, в нем не было ничего уменьшительного и вообще Банти он напоминал хорошо одетого тюленя.

Он боготворил миссис Картер, или Долли, как он называл ее, когда в магазине не было покупателей, и так часто целовал ей руки и заглядывал в глаза, что Банти иногда становилось неловко. Ее собственные мать и отец на ее памяти никогда такого не делали – самое большее, бегло клевали друг друга в щеку. Клиффорд утверждал, что у мистера Саймона жена «в приюте для лунатиков» и потому он не может жениться на миссис Картер, хотя, если верить Клиффорду, в ее квартире над магазином происходило всякое «бонжур, мадам» почаще, чем у Тетли. Новобрачные Морис и Ина Тетли, обитающие в соседнем доме по Лоутер-стрит, громогласно скрипели пружинами кровати по ночам за стеной спальни, которую занимали Банти и Бетти. Банти и Бетти часто шепотом обсуждали допоздна, что именно Морис делает с Иной, извлекая из кровати такие звуки.

Банти нравились и мистер Саймон, и миссис Картер, особенно миссис Картер: это была крупная женщина примерно одних лет с матерью Банти, но без тусклого налета, которым с годами покрылась Нелл. У миссис Картер были светлые – очень светлые – волосы, которые она закручивала в валики, а косметику «не иначе как лопатой накладывала», по выражению Фрэнка. Кроме того, у нее был огромный бюст, – казалось, уколи его булавкой и он лопнет. Но к Банти она относилась совсем по-матерински – кудахтала над ней, как квочка, спрашивала «Ну как сегодня поживает наша малютка Банти?» и намеками давала полезные советы. Благодаря ей Банти перестала ходить в носочках, тапочках на плоской подошве и со стрижкой каре, которую носила с пяти до пятнадцати лет, и превратилась в модную барышню в чулках, на каблуках и даже с накрашенными губами. «Наша юная дама», – одобрительно сказал мистер Саймон, когда миссис Картер велела Банти покрутиться перед ним в своем первом взрослом платье.

Нелл не особенно умела хвалить, и ей не нравилось, когда люди много из себя строят. Она придерживалась философского убеждения, что в целом все со временем становится хуже, а не лучше. Этот пессимистический взгляд на жизнь приносил ей большое утешение: в конце концов, несчастье обязательно рано или поздно случится, а вот счастье – вещь гораздо более ненадежная. Нелл отдавала предпочтение крайним по возрасту детям – самому старшему и самому младшему, Клиффорду и Теду. Особенно Теду, что сильно удивляло Банти и Бетти: обе были согласны, что такого гнусного хорька еще поискать. Бэбс отвоевала себе кое-какой авторитет в семье как старшая дочь, и еще своей практичностью и деловитостью, а Бетти была любимицей отца, его малышкой. Только бедная Банти торчала посередине, решительно ничем не отмеченная.

– Где же наша малютка Банти?

– Я здесь, мистер Саймон, в подсобке, чай завариваю. Вам налить чашечку?

– Да, дорогая, спасибо!

В эти дни Банти примеряла личность на основе Дины Дурбин, милую и заботливую, но энергичную и храбрую. С миссис Картер и мистером Саймоном это работало прекрасно, а вот дома никто не обращал внимания.

– Банти, у меня довольно сахару! – Когда миссис Картер повышала голос, в ее великосветском выговоре прорезался йоркширский диалект.

– Ясно! – крикнула в ответ Банти.

Магазин не работал. Было воскресенье, и Банти предложила прийти помочь с инвентаризацией. Они сидели вокруг радиоприемника с чашками на коленях, слушая передачу под названием «Как извлечь максимум пользы из консервированных продуктов» и ожидая «важнейшего заявления премьер-министра». Когда мистер Чемберлен сказал: «Я должен сообщить вам, что мы не получили никакого ответа и, следовательно, наша страна сейчас находится в состоянии войны с Германией», у Банти меж лопатками побежали мурашки. Миссис Картер громко всхлипнула – она потеряла мужа в «великой войне», а ее сын Дик был как раз подходящего возраста, чтобы его убили на этой.

– Ну что ж, – сказал мистер Саймон, поднимая чашку и чуть слышно кашлянув, – я хочу произнести маленький тост.

– Тост? – с сомнением повторила миссис Картер.

– Да, за боевой бульдожий дух. Никогда британцы не будут рабами, и да сгинет Адольф Гитлер!

– Ура, ура! – хором отозвались миссис Картер и Банти, подняв чайные чашки.

Банти восклицала с бо?льшим энтузиазмом и храбро добавила:

– Правь, Британия!

Банти возлагала на войну большие надежды; война отняла то, что казалось раньше неизблемым, и открыла новые возможности, и это почему-то вдохновляло. Бетти сказала, это все равно что подбрасывать монетки в воздух и гадать, куда они упадут, – и теперь стало гораздо вероятней, что с Банти случится что-нибудь захватывающее. Не важно даже что – потрясающе красивый незнакомец или бомба, главное – что-то новое.

Клиффорда призвали, и Фрэнк ходил по дому, отдавая сыну честь и называя его «рядовой Кук». Кажется, он совсем забыл, насколько неприятной может быть война. Клиффорд надувался от спеси. Одновременно с ним повестку получил Сидней, жених Бэбс, и тут же сыграли свадьбу – до войны это показалось бы неприличной спешкой.

Когда новобрачные вышли из церкви, миссис Картер и мистер Саймон стояли в толпе зрителей на паперти, и миссис Картер вручила Бэбс маленький букетик белого вереска. Бэбс взяла букетик с легким отвращением на лице, и Банти услышала, как Клиффорд спрашивает: «Что тут делает эта разодетая шлюха?» Банти бросило в жар и холод, и она посмотрела на мистера Саймона – слышал он или нет; но он продолжал благодушно улыбаться всем подряд, а когда заметил Банти, помахал ей.

Справляли свадьбу в том же зале при церкви, где когда-то миссис Сиврайт устраивала поминки по Перси. Свадебные торжества заключались в основном в том, что все мужчины очень сильно перепились приторным молочным стаутом, явно раздобытым на черном рынке, хотя никто не знал, через кого именно. «Только никому ни слова», – сказал обычно тихий и трезвый Сидней и залпом осушил пинту стаута под одобрительные вопли гостей. Бэбс была в ярости.

– Тебе придется нас извинить, – засмеялся Фрэнк, тяжело повисая на плече Сиднея, который, впрочем, был так пьян, что лишь чудом сохранял вертикальное положение.

– Это еще почему? – отрезала Бэбс сурово, как мегера почтенных лет. Восемнадцатилетняя Бэбс в некоторых отношениях была очень взрослой.

– Потому что мы все умрем, – мрачно сказал Фрэнк.

– Только не ты, старый дурак, – прошипела Бэбс.

Банти знала, что, вздумай она так разговаривать с отцом, заработала бы оплеуху. Пришел Блонди Хейвис, сосед, и попытался пригласить Бэбс на танец, но она сказала:

– Пригласи Банти, я занята, – и направилась к Клиффорду, тщетно надеясь мобилизовать его на поддержание трезвости собравшихся.

– Ну так что, Банти? – спросил Блонди Хейвис.

Банти он был симпатичен; когда она была маленькая, он любил катать ее в колясочке, и всегда так открыто, бодро держался, что нравился большинству людей. Он был далеко не красавец – с выпученными, как от больной щитовидки, голубыми глазами и смешной копной волос песочного цвета (отсюда и его прозвище; настоящее его имя было Эрик). Он закрутил Банти в энергичном тустепе – для музыки у них был старинный заводной граммофон и набор пластинок из пестрой коллекции Сиднея. Банти всегда казалось, что Блонди похож на дружелюбного пса – надежный, верный и всегда рад угодить. Поэтому ей стало слегка не по себе оттого, что он, обдавая ее пивным дыханием, пытался мусолить отдельные части ее тела, и все это на скорости миль шестьдесят в час на импровизированной танцплощадке.

К тому времени, как пластинка кончилась, Банти вся взмокла и твердо решила увести Блонди с танцплощадки, пока музыка не заиграла снова. Банти стала подталкивать его наружу, но он неправильно истолковал ее действия и плотно обхватил ее за талию одной рукой, а пальцами другой стал бегать по ребрам, как по клавишам пианино. К тому времени, как ей удалось вытолкнуть его в коридор, он с головой ушел в эту игру на ребрах и беспрестанно повторял:

– Угадай мелодию! А? Угадала?

- Нет, Блонди, не угадала, - твердо отвечала Банти, пытаясь вывернуться из-под барабнящих пальцев. Блонди оказался на удивление сильным. Банти вспомнила, что в школе он был чемпионом по плаванию.

- Ну давай, давай, угадывай, - не отставал он.

- «Разодевшись в пух и прах»? «Голубой Дунай»? «Дорога из желтого кирпича»? - стала наобум перебирать Банти.

- Да, да, да!!! - завопил Блонди.

Он пришел в отпуск из торгового флота и (о чем не знала Банти) поклялся сам себе, что перепихнется с кем-нибудь до завтрашнего возвращения на корабль. Так что у него оставалось очень мало времени.

- Мы на свадьбе моей сестры! - возмущенно сказала Банти, когда Блонди стал засовывать язык ей в ухо. - Мы в помещении при церкви! - попыталась протестовать она, когда он принялся шарить коленом у нее между ног.

Наконец она больно укусила его за руку, так что он изумленно отпрянул и, тряся рукой, словно затем, чтобы охладить ее, восхищенно посмотрел на Банти и воскликнул:

- Вот это тигрица!

Банти сбежала обратно в духоту и хаос свадебной залы, но слова Блонди не шли у нее из головы. Ей очень понравилось быть «тигрицей», и она даже попробовала рычать про себя. Коробка передач ее личности переключилась на несколько делений вверх, с Дины Дурбин на Скарлетт О'Хару.

Через некоторое время остатки празднующих удалились в дом на Лоутер-стрит. Банти успела украдкой осушить три полпинты стаута, желая догнать общее веселье, и с удивлением обнаружила, что стоит на кухне - словно перенеслась туда по волшебству - и режет хлеб. Вдруг две мускулистые руки ухватили ее сзади за талию. Банти (в соответствии со своей новой личностью) планировала надувать губы и порывисто уворачиваться, если Блонди еще что-нибудь себе позволит, но, когда он сказал: «Здравствуй, Банти, ты мой красивый бантик» - и ткнул ее пальцем в спину, чтобы шутка лучше дошла, Банти захихикала. «Банти, да ты же у нас под банкой!» - сказал Блонди, отчего она принялась хохотать еще сильнее и скоро поддалась на его уговоры выйти наружу, где он прижал ее к задней стене дома. Банти казалось, что она в объятьях осьминога, его руки были повсюду, и она лишь слабо повторяла: «Это нехорошо, так не годится», пока Блонди, уже начиная отчаиваться, не сказал: «Банти, я тебя люблю! Я тебя всегда любил! Мы поженимся в мой следующий отпуск», и Банти тут же поверила, что это настоящая любовь (такое случается каждый день), и уступила его гнусным домогательствам, утешая себя тем, что это, может быть, последняя радость, которую ему суждено получить перед безвременной гибелью. Она старалась не задумываться о самом процессе и, чтобы отвлечься, разглядывала полудухлый клематис на другой стороне двора.

- Какая женщина! - выдохнул Блонди, достигнув скорого и на вид весьма неэстетичного завершения.

Банти решила, что это - омерзительное занятие, с начала и до конца, особенно если учесть, что Блонди, увлекшись, молотил ее головой о водосточную трубу. Но теперь Банти хотя бы знала, что именно делал Морис Тетли с пружинами кровати («Не может быть!» - сказала Бетти, сделав круглые глаза, когда Банти ей открылась).

Из всех военных лет 1942 год был самым насыщенным для Банти. Она ушла из «Моделии» – миссис Картер и мистер Саймон сердечно распрощались с ней, все время повторяя, что без малютки Банти они будут как без рук. Миссис Картер подарила ей пару чулок и лавандовый одеколон, а мистер Саймон вручил пять фунтов и заключил в объятия, отчего она покраснела. Они сами явно сдали: торговля пришла в упадок, оттого что теперь все было по карточкам, и к тому же сын миссис Картер пропал без вести на фронте.

Банти начала работать на оборону, как до нее Бэбс, которая теперь фаршировала взрывчаткой снарядные гильзы в цеху «Роунтри», где до войны производили совершенно не смертельный фруктовый мармелад. Банти устроилась на фабрику прецизионных инструментов; раньше тут делали микроскопы, а сейчас переключились на разные вещи вроде оптических прицелов. Банти работала контролером – проверяла качество уже собранных прицелов – и поначалу изображала, что стреляет в немцев: «Бах-бабах!» Но скоро новизна приелась, и к концу рабочего дня у Банти закатывались глаза от скуки.

К началу 1942 года Банти уже была по горло сыта войной. Ей до тошноты надоели Доктор Моркоу, Картошка Пит и Миссис Шей-Перешивай. [14] Она что угодно отдала бы за большую коробку шоколадных конфет и новое зимнее пальто. А встретить она на улице Жука-Расточителя, [15] лично провела бы его за руку по всем магазинам Йорка. Она как-то не прониклась всеобщим патриотическим порывом.

Романтики ей пока тоже не светило. Блонди Хейвис приходил на побывку в феврале. Банти сохранила ему верность, но лишь оттого, что никто другой за это время не подвернулся. Она видела, как он явился домой и толкнул калитку заднего двора Хейвисов – сумка закинута за плечо, сам развязно посвистывает, – и стремительно присела, укрывшись за подоконником спальни. Блонди выглядел еще безобразней, чем в их прошлую встречу, и у Банти поползли мурашки омерзения при мысли о том, что она позволила ему тогда на свадьбе Бэбс.

Блонди, который в это время бороздил серые воды Атлантики в караванах, был очень задет холодным обращением Банти. Он, как когда-то Фрэнк, был уверен, что у него мало шансов выжить. Но в отличие от Фрэнка оказался прав: через три недели после возвращения на боевой пост его корабль пошел ко дну со всем экипажем и грузом (колбасный фарш в банках). Миссис Хейвис, конечно, горевала, да и Банти было не по себе. Бетти, услышав о случившемся, разразилась слезами, потому что Блонди был «такой хороший парень», а Нелл сказала:

– Все они хорошие.

Дом на Лоутер-стрит оказался зажат меж двумя фонтанами слез, так как всего через неделю после вести о Блонди соседка с другой стороны, Ина Тетли, потеряла мужа, Мориса. К этому времени у нее уже был ребенок, шестимесячный Спенсер. После смерти Мориса она стала очень странная. Фрэнк сказал, что она лишилась ума, и старался ее избегать, но Нелл считала своим долгом заходить к Ине каждый день, как уже заходила к Минни Хейвис.

Ина не выпускала ребенка из рук ни на секунду; она дошла до того, что не соглашалась положить его ни в коляску, ни в кроватку, а только таскала целый день на руках и на ночь клала с собой в постель. Ина много времени проводила на заднем дворе, вглядываясь в небо в ожидании, что там появится отец Спенсера (Морис был штурманом на «веллингтоне»). Это и днем действовало на нервы, а ночью пугало по-настоящему: Ина стоит на дворе в темноте, ребенок плачет и кашляет на холодном весеннем воздухе – и кому-нибудь приходилось идти к Ине и уговаривать ее вернуться в дом. Даже скорбящая миссис Хейвис не выдержала и

заметила, что надо хоть немного контролировать свое горе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

вернуться

14

Доктор Моркоу, Картошка Пит и Миссис Шей-Перешивай – персонажи, которые использовались в британской пропаганде во время Второй мировой войны, чтобы убедить население экономить ресурсы для фронта. Доктор Моркоу и Картошка Пит – забавные антропоморфные фигурки картофеля и морковки, плакаты с участием которых призывали детей есть больше картофеля и овощей (подразумевалось – выращенных семьей на подсобном участке) и пропагандировали пользу такого питания. В рубрике «Советы Миссис Шей-Перешивай» журналы и газеты публиковали советы по переделке старых вещей на новые, что было очень актуально для населения, так как одежда во время войны тоже продавалась по карточкам, и, кроме того, имело оборонное значение, так как текстиль был нужен фронту.

вернуться

15

Жук-Расточитель – другой персонаж британской военной пропаганды, олицетворение неэффективного использования ресурсов.

[Купить полную версию книги](#)